

Василь Быков Блиндаж

<http://magazines.russ.ru/sib/2010/5/by2.html>
«Сибирские огни №5»: 2010

Аннотация

Не так давно в домашнем архиве Василя Быкова была обнаружена неоконченная повесть “Блиндаж”, написанная им еще в 1987 году. Библиотечка журнала “Дзяслоў” (Минск) в 2007 году издала эту повесть отдельной книжкой. Подготовил ее к публикации Алесь Пашкевич. Он упорядочил текст, из авторских набросков “смонтировал” план заключительных разделов, что представлено в конце текста курсивом как дополнение к основной канве повести.

*Валерий Стрелко,
переводчик, член Союза белорусских писателей,
член Национального Союза писателей Украины*

Василь Быков Блиндаж

КОВЧЕГ БЫКОВА

После настоящих писателей остаются прижизненные публикации. После великих — прижизненные архивы.

О них — своих архивах — не особенно заботился Василь Быков. И характер у него был не “забронзовевший”, и время не способствовало доверительности. А потому после Быкова не осталось пронумерованных и упорядоченных рукописей, самое потаенное доверялась спутнице-жене Ирине Михайловне, немногим друзьям или огню дачного камина. После Быкова остались его правда, его дело, его боль, его книги и... неопубликованные рукописи.

Архив Василя Быкова сохранил неизвестную повесть “Блиндаж”, почти завершенную в 1987 году и не оконченную до последнего в жизни писателя 2003-го. Остались 77 страниц машинописи, несколько страниц рукописных вставок, наброски-планы в отдельном блокноте и авторская карта, на которой происходят события повести (деревня, домик Серафимки, шоссе, кустарник, траншеи перед холмом, разбитая пушка, блиндаж).

В одном из писем к своему другу, талантливому критику Игорю Дедкову, 20 декабря 1987 года В. Быков признается:

“Выжив Алесьа Адамовича, берутся за Виктора Коваленку, Светлану Алексиевич, тихо обкладывают Быкова — чтобы лучше было взять. Считается, что режиссер всего этого Павлов¹, которого направляет Севрук². Но не только они, конечно. В этой истории показали свою двойную душу некоторые наши общие знакомые. <...> А вообще работается скверно, начал и бросил новую повесть — не удовлетворяет”.

Так высказался В. Быков о повести “Блиндаж”. А думал о ней — до последнего своего дня; в блокноте, куда вписывались дополнения к воспоминаниям “Долгая дорога домой”, на отдельной странице рукою В. Быкова записано-напомнено, как обозначено на верстовом столбе творческих дорог: “Блиндаж (Серафимка)”.

Повесть “Блиндаж”, которая задумывалась и писалась после “Карьера” перед

¹ Заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ. — А.П.

² Заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. — А.П.

“Облавой”, обостренно-Быковская, типично-Быковская. Как типична для Беларуси вырисованная в тексте истребленная сталинизмом и нацизмом деревенька Любаши родной Быкову Полотчины, как символический образ Серафимы Тарасевич, “темной” колхозницы, которая в год могла “выгнать” пятьсот двадцать трудодней и не иметь претензий за убитого единственного брата — учителя и “врага народа”. Человек в “неслыханном, исключительном” (В. Быков) положении — вот основной лейтмотив “Блиндажа”. И главная героиня Серафимка, и слепой после ранения капитан Хлебников, и дезертир немец Хольц, и “идейный” большевик Демидович, и сумасшедший еврей Нохем, и сын раскулаченного, “путаный человек”, антисемит Кочан, и полицаи Пилипенки — поставлены в такие испытания, где между белым и черным нет границы.

Сюрреалистическая коллизия для будничной жизни и будничная для военной собирает в тесном блиндаже героев повести. Все ждут спасения, а блиндаж превращается в Серафимин ковчег. Сама же повесть стала для В. Быкова, думается, своеобразным “творческим полигоном”: здесь испытывались новые идейно-тематические решения (сталинщина уподоблялась нацизму, высвечивалась обида репрессированных), нащупывались стилевые находки будущих притчей (под одной крышей и за одним горшочком затирки — офицер-красноармеец, фашист, большевик, полицай), филигранилось композиционное мастерство (сюжетное разветвление-“нанизывание” завершалось продуманной финальной развязкой). Филигранилось до последнего дня писателя, поскольку повесть так и осталась незавершенной. Незавершенной на бумаге.

О фабуле развязки повести можно узнать из авторских записей и набросков, по которым и удалось “смонтировать” план заключительных глав (они в публикации подаются курсивом).

Таким получился давний и неизвестный “блиндаж-ковчег” Василя Быкова. Только выживут в нем не все и не всё. И останутся Быковская правда, честь и боль, а также — внимательно перечитанная машинопись так и не сданной в печать повести...

Алесь Пашкевич

“Прывитанне, яснавялебны куме! Прашу прабачэння за клопаты, але дасылаю Вам прадмоуку да “Блиндажа” и прашу перакінуць яе хану Беразевічу з усімі нашымі найлепшымі пажаданнямі. Думаю, што пераклад аповесці — не найлепшы (часам — падрадкоунік), але ж хай там падшкрабуць у рэдакцыі і падправяць. Можна, на чэрвеньскі нумар і пойдзе? А калі не — я узбунтую слуцка-татарскія народы і павяду іх на Новасібірск!!! Да сустрэчы”.

Из письма А. Пашкевича, переданного в редакцию журнала.

1. Серафимка

Холодный мелкий дождь сыпал с неделю, поливая и без того промокшую землю. Дорога целиком раскисла, грязь расползлась под ногами, мутные лужи заполнили колеи, стекать им было некуда. Даже тропа сбоку за канавой и та не высыхала в течение тех коротких промежутков, когда ненадолго утихал дождь, была скользкой и холодной. Удобней всего идти было по мелкой, тоже измокшей травке вдоль картофельного поля, кое-где выкопанного, с разбросанной, порыжелой ботвой, а где и с нетронутыми еще бороздками. Картошка, судя по всему, пойдет под снег, вымерзнет, копать ее уже некому — деревни, считай, не стало, выгорела, порушилась до основания эта небольшая деревенька. Да и другим тут досталось, видать, не меньше, и теперь из-за обожженных деревьев торчали закопченные печи с обломанными трубами, остатками зловонного дыма дышали недогоревшие пепелища. Еще бы — столько ужасных дней все здесь гремело от жутких взрывов, ходуном ходила земля, воздух сплошь визжал и скрежетал.

А от дыма нельзя было продохнуть даже в яме на свекловичнике, где пряталась тетка Серафимка. Все вокруг горело, тлело и дымилось: и хаты, и хлевки, и риги — и она боялась

даже выглянуть на свет божий, чтобы рассмотреть, стоит ли еще ее хатка. Уже, может, с десяток ужасающих взрывов громыхнуло во дворе и в огороде, сырой пласт суглинка обрушился в яме, привалив ее босые ноги, сверху яму засыпало чернотой, перемешанной со мхом, соломой с хлевка. Но хата не сгорела. Серафимка обрадовано уставилась на нее, как только несмело выбралась из ямы под вечер в пятницу, когда все здесь утихло, смолкло, помертвело. И она сама себе не поверила: неужто уцелела? Хатка, однако, уцелела с натяжкой, ведь половины кровли на ней как ни бывало — будто вихрем снесло, а вторая половина плоско укрыла стропилами чердак без дымохода, черные кирпичи от которого разбросало по всему огороду. Пострадали все три окошка, битое стекло валялось вокруг, и Серафимка, боясь изрезать босые ноги, встала возле сломанного забора и горько заплакала...

За картофельным полем нужно было повернуть по косоугору в лог, где из-за кустарника широко выглянул громадный луговой простор: давний выработанный торфяник, ныне черный, пустой, залитый в канавах да ямах застоявшейся водой. Там и далее искони простиралось болото с чахлыми клочками кустов, ольшаника, редкими островками низкорослого болотного сосняка; через него, впрочем, бежал старинный мощный тракт, за который, видно, и разгорелась эта военная потасовка. Накануне красноармейцы несколько дней копали пригорок, откос, окапывались на краю торфяника, накопили уйму причудливо-извилистых нор, ямин, круглых, что сковорода, площадок — для пушек, что ли?

Вчера под вечер, когда Серафимка, страшась и крайне любопытствуя одновременно, подошла к тому пригорку, то даже присела от внезапного внутреннего ужаса — ниже, возле кустиков на краю вывернутых из глубины отвалов земли, лежала на боку небольшая пушчонка с коротким стволом, и за нею ничком обвис на железной станине мертвый красноармеец, сплошь обсыпанный мелкими комьями земли. Она долго всматривалась в него издали, думала, вдруг шевельнется, может, еще живой? Но, увы, не пошевелился убитый; она поняла это, когда все же подошла ближе и заметила на его стриженном затылке расплывшееся пятно засохшей крови. Она еще повглядывалась в него, стараясь как-то одолеть свой страх, да так и не одолев его, помалу подошла по траве к пушечке. Лица убитого не было видно, и не поймешь, какого он возраста, разве что его тонковатая шея, которая высывалась из распахнутого ворота гимнастерки, позволяла полагать, что это совсем еще молодой парень. Должно быть, он лежал здесь несколько дней, его гимнастерка на спине ошершавела и подсохла на ветру, а бока и все иное под ним было сырое и темное — от дождя или крови. Серафимка подошла совсем близко, ступила на груды сырой мягковатой земли, за которой открывалась глубокая узкая ямина, боязливо заглянула туда и ужаснулась еще пуще: в яме тоже лежали убитые.

Нельзя сказать, что Серафимка так уж боялась неживых людей — за свои сорок лет она успела повидать покойников — мужчин и женщин, молодых и старых, схоронила отца, но тогда было все не так. Там были издавна знакомые, свои, родичи, да и покойники совсем не то что убитые, окровавленные да покалеченные солдаты.

Серафимка тогда, почти не чуя под собою ног, напрямик через картофлянище быстро ушла отсюда подальше — к своей убогой, без кровли, хатке на краю недалекой разрушенной деревеньки: там была хоть какая-то защита от ужаса военного поля боя. Весь недолгий путь домой, затем в хатке, которую она кое-как приспособила под жилье (позатыкала выбитые окна, приладила поломанные двери и даже попробовала затопить печь, но дым сразу повалил обратно, и она загасила головни), всю ночь потом в ее глазах стояли неподвижные, засыпанные землей спины, запрокинутые головы убитых, окровавленный бинт на голом, с разрезанным рукавом плече одного из них. А назавтра, кое-как дождавшись ленивого позднего рассвета, она вытащила из-под дровяника ржавую лопату и, побаиваясь, посеменила через поле к тому ужасному косоугору над торфяником.

Однако по мере приближения к гривке кустарника все менее оставалось у нее решимости, страх пронимал все больше, и она не пыталась одолеть его, она уже свыклась с ним за эти кошмарные дни. Теперь жила она с ним каждодневно, не расставаясь и ночью, в своих коротких птичьих снах, пробуждаясь раз по пяти до рассвета. Правда, после того

побоища все вокруг стихло, будто оцепенело, лишь вчера в небе несколько раз гудели аэропланы, но чьи они были и куда летели — она не знала. Она не имела понятия, куда откатилась война, или, может, на том все и кончилось. Все всех поубивали — и наших, и немцев — и здесь поблизости не осталось никого. Не осталось также и в деревне — одни убежали дальше, за местечко, еще накануне боя, другие вообще исчезли неизвестно куда. Красноармейцы тогда выгоняли всех, говорили, здесь оставаться опасно, будет большая свалка, и ее тоже убеждали выбираться. Но она не ушла никуда, хотя и соглашалась тогда пойти. И, видать, напрасно не пошла, позже не раз сетовала на свою дурость, но разве она предполагала, что будет настолько страшно. Такой ужас! Конец света, ад и кровавое погромище. Тогда думалось: ну постреляют на поле или в деревне, возможно, даже убьют ее, но ей что, плакать по ней некому, как и ей по кому-то. Серафимка давно жила тут одна, бобылкой, без семьи, которой у нее не завелось с юности, а родня... Родственников близких тоже не осталось, а дальние были далеко, так что, если погибнет, слез по ней будет немного. А то и вовсе не будет. Может, оно и к лучшему.

Убитый лежал ничком на станине; недалеко, на кусте шиповника, сидела-ожидала серая ворона, которая неохотно сорвалась с ветки и куда-то улетела, когда Серафимка подошла ближе. Шаг ее замедлился. Женщина напряглась, вновь стало страшно, так ведь... негоже оставлять воронью убитых бедолаг, нужно их укрыть землей, и, похоже, сделать это здесь уже некому. Своих, красноармейцев, видно, не осталось, или, быть может, они отступили дальше. О погребении нужно позаботиться ей. Жалость к погибшим подгоняла Серафимку, и она же, эта жалость, помогала ей хоть немного преодолевать свой страх.

Она подошла к широкой воронке-яме, заглянула в нее. Суглинистые выворотни громоздились по краям, комья земли обсыпали всю стерню вокруг, но больше всего — пушчонку и беднягу, убитого при ней. Как за него взяться — она не знала, постояла рядом, подавленно вглядываясь в его разбитый, в засохшей крови, затылок. Затем, отставив лопату, дотронулась до его плеча, попыталась повернуть. Убитый не стронулся с места, словно окаменел, и она снова взялась за него и с большими усилиями едва перевернула на бок. Это и вправду был молоденький солдатик с худым узким личиком, один глаз его был как-то очень уж зажмурен или, может, заплыл, а другой, будто остекленевший, недоуменно вглядывался в даль. Его подсунутые под себя, прижатые к груди руки так и остались прижатыми, с грязными растопыренными пальцами. Что делать дальше — она просто не знала. Понятно, нужно хоронить, но как? Она оглянулась, и вновь ее взгляд наткнулся на яму рядом с теми же убитыми.

“Никак их складывали туда, да не успели зарыть”, — подумала Серафимка и подошла к яме ближе. Вряд ли складывали — как-то очень уж беспорядочно они помещались там: двое сидело на дне, уткнувшись головами в земляную стену этой тесноватой ямины, третий лежал боком, повернув голову в пилотке к забинтованному плечу. Бинт на нем был сплошь в сухих пятнах крови, кровь была на его груди и виднелась на ложе винтовки, что торчала вблизи из-под накиданной взрывом земли.

Спуститься в яму, чтобы там поправить их позы, Серафимка не осмелилась, на такое она уже, пожалуй, не была способна. Она лишь с отчаянной решимостью взяла под мышки убитого и потащила его к яме. Убитый оказался довольно тяжелым, загребая землю, немного передвинулся, но его брезентовая сумка, висевшая на левом боку, зацепилась за станину и не позволяла волочь дальше. Серафимка положила убитого на землю, отцепила сумку. Верно, сумку нужно было снять, но она не хотела ничего здесь переиначивать, думая: пусть они так уж и остаются в земле со своим имуществом. Она все же сумела подволочь тело к ямине и, придерживая за натянутую подогнутую руку, боком опустила его в яму рядом с теми, кто уже навсегда расположился там. Затем старательно перекрестила всех в яме, перекрестилась сама и взялась за лопату.

Закапывала она долго, с перерывами, даже угрелась, расстегнула заношенный хлопчатобумажный сак, сдвинула с головы темный платок. Дождик будто бы прекратился, но ветер не унимался, небо было сплошь облачное, тревожное, вверху плыли-клубились

недобрые серые тучи. Отдыхая порой, она вглядывалась по склону вниз, где по стерне и над болотцем убегающе змеилась траншея со спешно обложенными травой и дерном краями. Дерна почти не осталось, так все там было перепаханно взрывами, жирные пятна от которых чернели по обе стороны траншеи и сплошь по всему косогору — где немного реже, а где так густо, что не было и следа стерни, все там чернелось от вывернутой из глубин, промокшей от дождя земли. Что-то властно притягивало ее взгляд, будто чувствовала она, что и там необходимо ее внимание. И она вновь принималась грести на убитых землю с берегов ямины-окопчика, уже основательно засыпала их, осталось торчать из земли только зеленое, с нашитой заплатой колено верхнего убитого. Но вот уж и колено скрылось под нетолстым слоем мелкой глины. Тогда ей стало спокойней, и она уже медленнее довершала свое грустное дело: засыпала яму и даже немного нагребла в дополнение верх — получилась вроде как могилка. Да, видать, и впрямь это останется навек могилкой для четырех несчастных.

Потом она воткнула сбоку лопату, перевязала на голове платок, неспешно оглянулась. Кроме заваленной набок пушечки, кое-где на земле виднелись разбросанные гильзы от снарядов и даже целые, нестрелянные снаряды с острыми блестящими головками; снаряды, скорее всего, были и в поломанных деревянных ящиках, что едва высовывались сбоку из какой-то рытвины. Но она не стала трогать этой военной утвари — не дай Бог стрельнет. Главное она уже сделала: укрыла в земле людей, пусть лежат. Теперь их не обидит никто — ни зверь, ни человек.

С лопатой в руках она отошла немного от могилки, постояла и пошла, но не вверх к деревне, а помалу, замирая от страха, потопала по жнивью вниз до торфяника, где была траншея. Что-то ее тянуло туда, хотя и пугало, угнетало страхом, но она шла, останавливаясь, оглядываясь по сторонам. Хотя, кажется, нигде не было никого — студеной ветер гнал тучи, подрагивал редкий чернобыльник по стерне на разрушенном, исчерканном людьми и войной поле.

Неуверенно, как и прежде, очень страшась, она подошла к ближней кривуле-траншее, взглянула через бруствер, но там не было ничего. Только на дне стояла черная вода от дождя или, возможно, выступившая снизу, местность-то была низкая, почти заболоченная. Тогда она помалу двинулась вдоль бруствера, насыпанного из черной болотной земли, бруствер здесь был заботливо разгребен, выровнен и бесконечно тянулся куда-то по-над торфяником.

В одном месте Серафимка с опаской переступила через толстый, смоляного цвета провод, что вел по земле на пригорок до того места, где чернели двойчатки-воронки от снарядов. Чуть дальше, в траншее, лежали на земляной полочке две большущие шпули с таким же толстым проводом, одна — намотанная доверху, а другая — почти пустая. Местами на бруствере и внизу было густо, как с мешка, насыпано гильз — пустых, без пуль, некоторые из них позеленели уже от влаги, другие — мокрыми кругляшами желтовато сверкали в грязи. Кое-где белели куски окровавленных мокрых бинтов, разметанных ветром по брустверу, по стерне. Везде чернела вздыбленная взрывами земля, на косогоре не осталось живого места от взрывов и воронок. Но людей здесь нигде не было — ни живых, ни убитых; наверное, люди ушли, когда утих бой. Хотя в окрестностях не появилось еще ни одного немца, Серафимка чувствовала, что победили немцы: всю прошедшую ночь по шоссе за торфяником гудело до рассвета — все там ехало, пёрло, двигалось на восток. Значит, наши отступили.

То оглядывая перекопанные войной окрестности по-над торфяником, то заглядывая в траншею, где более глубокую, а где совсем мелкую, до колена, Серафимка набрела на какой-то траншейный тупичок с холмиком на поверхности, который был обложен свежим дерном, будто большая могила у траншеи.

Сперва она мягко ступила босыми ногами на этот холмик, но, спохватившись, сошла назад, чтобы обойти его. Затем перепрыгнула неширокую траншейку и вся содрогнулась от чьего-то голоса, что глухо прозвучал будто из-под земли. Когда она оглянулась, то и вовсе ужаснулась от того, что увидела: сзади, в глубине траншеи, держась отведенной рукой за

земляную стену, с пистолетом в другой, стоял человек в неподпоясанной красноармейской форме, его голова и глаза были толсто обмотаны грязным бинтом, конец которого болтался от ветра над окровавленным плечом в зеленой диагоналевой гимнастерке. Человек, застыв, напряженно вслушивался и отчаянно-сурово рыкнул:

— Стой! Кто тут? Не подходить! Стреляю!

“Ай, боженька мой!” — испуганно подумала Серафимка, не зная, как откликнуться, или лучше, не откликаясь, убежать отсюда, пока тот не увидел ее и не застрелил...

— Женщинка я, здешняя, — дрожащим от волнения голосом наконец отозвалась Серафимка.

Человек немного помолчал, подумал, переступил с ноги на ногу, но руку с пистолетом не опустил.

— Женщина? Одна?.. Отвечай быстро!

— Одна я...

— Кто еще есть?

— Да никого же. Одна вот иду.

— Так. Подойди ближе! — строго приказал человек, и Серафимка, ступая по мягкому брустверу, подошла на три шага ближе. — Где немцы?

— Так и наших нет. Нигде никого.

— Да? — глухо промолвил человек и вяло прислонился спиной к стене траншеи. Видимо, стоять ему было неудобно или он ослабел от ран.

Он молчал. Серафимка тоже молчала, чувствуя теперь какую-то свою зависимость от этого бедолаги, и внимательно разглядывала его. Но забинтованное лицо человека не многое позволяло ей понять, разве что жесткие, давненько не бритые челюсти свидетельствовали о его не очень молодых годах да некие блестящие значки в черных петлицах на воротнике означали, что он не простой, не рядовой красноармеец, а, видно, какой-нибудь командир.

— Женщина, ты мне должна пособить, — спокойней, но с прежней натянутостью сказал человек и умолк во второй раз.

— Так я ж... — будто даже обрадовалась Серафимка. — Что вам?

— Чего мне? — переспросил человек и сел, будто рухнул на дно траншеи. — Плохо мне! Вот... И чего-либо поесть...

— Ладно. Только я сбегая, тут недалеко. Вы подождите.

— Но чтоб без обмана. И не вздумай кого привести. Застрелю всех.

— Ага, — сказала Серафимка.

С неожиданным облегчением она шагала по косогору вверх и вспоминала, что в хате, кажется, еще была краюшка черствого хлеба и полчугунка сваренной картошки за заслонкой... Сегодня она ничего не ела; должно быть, не ела и вчера, а в те дни вообще было не до еды, и это как-то не беспокоило ее. Но теперь вот забеспокоило: чем она накормит этого человека? Может, сварить свежей бульбочки, в сених есть полведерка соленых огурцов, а в кадке под крышкой она берегла с весны пару кусков прогорклого прошлогоднего сала. Но главное, видать, ему нужно помочь с глазами. Они же, понятно, покалечены, и как же он теперь сам-один? Нужно доктора. Только где тот доктор? До местечка отсюда двадцать два километра, как сейчас до него дотянуться? Да по нынешней беде остался ли там доктор? Скорее всего, подался с войском...

Краем картофляника она выбежала на дорожку, откуда уж рукой подать до ее загубленной деревеньки, один вид которой неотвязной печалью сжимал сердце — везде трубы, обгорелые деревья, черное пожарище от усадеб, риг, хлевков. Может, каких-нибудь четыре или пять строений (два хлевка, баня возле пруда да Петракова истопка на огороде) всего и уцелели с того конца деревни. С этого же не осталось ничего, кроме ее хатенки на отшибе.

Еще когда бежала по выгону, неожиданно заметила людей — за забором на ее дворе мелькнули две фигуры, застыли, остановились, видно, вглядываясь в нее. Она тоже пригляделась и вскоре узнала одного — то был старший Пилипенко в высокой с козырьком

шапке, которую в прошлом году, рассказывали, приобрел в Западной, куда гонял скотину, здесь такой шапки не было ни у кого. Да скоро она узнала и второго — его брата Витьку, который, пригнувшись, что-то волок по двору. Но какая холера пригнала сюда этих Пилипенков, что им понадобилось тут? — подумала Серафимка. Она не любила этих людей, как, впрочем, не любили их все местные, одни боялись, другие ненавидели этих нечистых на руку и на мелкие проступки пакостников. Правда, лет несколько тому они разлучились: старший пристал в примачки к одной молодежи из Ляд, а младший уехал в Оршу. Да ныне вот снова сошлись...

Видимо, непрощенные гости тоже узнали ее, малость постояли во дворе и, как ворюги, неспешно подались на задворки, тропкой до пруда. Они и не прятались даже, с развальцей ковыляли, изредка оглядываясь, и у нее худо заныло сердце: чего их приперло сюда в такое горькое время?

2. Хлебников

Оставшись один в траншее, капитан Хлебников изнеможенно посидел с пистолетом в руке, а потом поставил его на предохранитель и с великим усилием поднялся на ноги. Пистолет он бережно запихал в карман своих перепачканных в грязи диагональных бриджей. А сам, расставив обе руки и лапая ими по стенам тесной траншеи, побрел к полузаваленной норе — входу в командирский блиндаж, где он бесконечно долго провалялся в углу на чьей-то покинутой шинели. Он и теперь обессилено вытянулся на ней, правым боком вверх, чтобы иметь под рукой пистолет, который берег теперь больше, чем все остальное. Он боялся выпустить его из рук, запачкать грязью, ведь когда она попадет в ствол, как он тогда стрельнет в самый критический момент? А стрельнуть, видимо, придется в немца-фашиста или в самого себя, без этого уж, должно быть, не обойтись. Незавидная военная судьба капитана теперь вплотную подвела его именно к такой возможности. Ничего лучшего он не видел впереди. Как вообще ничего не видел.

Правда, внезапно появилась некая тетка, и он не сдержался, неожиданно для себя попросил есть. За время своего одиночества и этого ранения он мало того, что измучился душой и телом, так еще проголодался так, что уже с большой натугой мог встать на колени и выползти в траншею. Его всего шатало, словно пьяного, кидало из стороны в сторону, в голове чугунно гудело и кружилось — от слабости, потери крови, этого страшного ранения. Он давно утратил всякое ощущение времени, даже привычная смена суток стала недоступной его разумению, как, впрочем, и все остальное, что происходило вокруг. С того момента, как он сунулся в эту огненную бездну, которая погасила его сознание, все для него обрело новый смысл или, может, потеряло всякий доступный сознанию смысл, он слабо соображал, что с ним происходило и даже — кто возле него? Наверное, оба глаза его выбило взрывом, виски и лицо жгло неослабевающим огнем, но это он понял позже, а тогда сознание его погасло на какое-то неопределенное время; неизвестно, сколько он пролежал, заваленный землей в траншее, но когда пришел в сознание, его уже перевязали — возможно, инструктор второго батальона.

Он услышал недалекий голос комбата Глазырина, который спрашивал, что с ним, и тот, кто перевязывал, ответил:

“Плохо дело — глаза”.

“Что, оба?” — донеслось издали.

“Оба, товарищ капитан”.

Тут рядом грохнуло несколько взрывов, на него снова сыпануло землей, и он услышал только, как комбат закричал на кого-то, чтобы немедленно открывали огонь пулеметы. Хлебникова торопливо перевязали, положив по клочку ваты в обе глазницы, с которых все ползло-сочилось нечто, стекающее по щекам и подбородку, и он то и дело вытирал это испачканными пальцами. Кто-то помог ему добрести до блиндажа и прилечь в углу на этой шинельке. Хлебников молчал, ни о чем не спрашивал, терпя ужасную боль в голове, он даже

не слушал грохота боя, который стал помалу стихать. Прежде всего стало тише на левом фланге, взрывы, кажется, переместились на косогор, в сторону деревни Любаши; поредело винтовочное громыхание в траншее; а главное — он перестал слышать голоса — ни криков, ни разговоров, ни команд. Еще спустя какой-нибудь час выстрелы стали слышаться только за взгорком, доносились дальние пулеметные очереди, там же долбила-ухала артиллерия, только своя или немецкая — он разобрать не мог.

Именно теперь, потеряв зрение, он начал слушать-вслушиваться в звуки боя, чтобы как-то рассуждать о нем; до этого его хлопоты были совсем иные — ему нужна была связь, которая все время позорно исчезала, рвалась. Из-за этой проклятой заботы о связи он и очутился здесь, в траншее второго батальона, где его подстерегало несчастье. Но разве мог он это предусмотреть? Нервозный, издерганный начальник штаба, который руководил боем после того, как убило снарядом комполка Сомова, сорванным голосом потребовал от него связи с первым и вторым батальонами, которые третьи сутки отбивали немецкие атаки.

После недолгого перерыва связь с первым батальоном была все же восстановлена, а телефон связи со вторым упорно молчал с полудня, хотя на линию были посланы с интервалами шестеро связистов, да ни один из них не вернулся. Из полкового КП послать уже было некого, и начальник связи выскочил под огонь сам, убежденный, что вскоре положит и его. Да просто невыносимо стало слушать угрожающую ругань начальника штаба, и в тот момент ему было уже все равно: выжить или погибнуть, только бы восстановить связь.

Правда, поначалу ему даже повезло, он невредимым добрался до первой траншеи, в двух местах срастил перебитый осколками провод, возобновил связь и даже успел доложить об этом начальнику штаба. Немцы жутко лупили снарядами по косогору и по батальону, но здесь, в траншее, было спокойнее, чем в голом поле, и Хлебников решил немного переждать, прежде чем возвращаться. Опять же, он хотел увидаться с комбатом, чтобы спросить, сколько тот еще здесь продержится с батальоном. И только он, пригнувшись, сунулся из блиндажа в траншею, как тяжелый земляной пласт, внезапно вскинутый взрывом, неистово обрушился на него, повалил на спину, и он успел лишь подумать: не попало в поле, так догнало вот в траншее. Потом он уже ничего не помнил, пока его не вытянули из-под земляного завала.

Терпя остро-жгучую боль в голове, Хлебников лежал в блиндаже и ждал, когда хоть кто-нибудь заглянет сюда, хотелось спросить, что там происходит, где комбат? Но время шло, слышно было, уже стихал бой (что только нес он полку — победу или поражение?), а к нему никто не заходил. Тогда в сознание капитана начал заползать страх: не остался ли он тут один, не покинули ли его красноармейцы? Это было бы ужасно, к такому повороту он не был готов, об этом не мог даже подумать. Но, видно, бросили. Спустя какое-то время вокруг совсем стихло, не стало слышно ни одного выстрела или взрыва в поле и над торфяником — похоже, настала ночь. Но где же наши? Где второй батальон, где комбат? Где хотя бы кто из красноармейцев? Один, без помощи, забытый всеми, он здесь пропадет, это же ясно. Вот заявятся немцы, швырнут в блиндаж гранату, которая вмиг разметет его потроха, перебьет руки и ноги. Добро, если он околеет сразу. А если им удастся взять его живым?..

Настрадавшись от неопределенности, он поднял свой пистолет, дослал патрон из магазина в патронник. Осталось достаточно легкое — нажать на спуск, и все навсегда кончится. Должно быть, это все же самое разумное. Ведь иначе что ждет его, слепого и беспомощного, кроме гибели от врагов или от своей раны? Нет, лучше уж он сам. Поднести пистолет к больному, неуклюже-толсто забинтованному виску и жимануть. Некая секунда боли в и без того переполненной болью голове, и дальше — ничего. Полное освобождение от мук и переживаний.

Да, это было бы, возможно, наилучшее, думал капитан Хлебников. И это придется сделать. Только вот решимости на это у него не хватало, все он чего-то ждал, вслушивался, тянул — будто на что-то надеялся. Надеялся разве на чудо. Но шло время, а чуда не было, и он ругал себя, обзывал трусом, слизнякам, ненавидел себя за свою нерешительность. И

томился, страдал от боли и безысходности.

Бесконечно долго тянулось время, Хлебников боролся с болью и то забывался, то терял сознание, может даже, обессиленный болью, дремал, а то схватывался, слушал. Иногда делалось холодно, или это его знобило, тело било лихорадкой, и он пробовал хотя бы как-нибудь согреться, укрыться шинелью, на которой лежал. То делалось жарко, и он потел, обливаясь горячим потом.

Минул, наверное, не один день, хотя он совсем не мог отличить дня от ночи, стрельба давно прекратилась, и вокруг было тихо и глухо, словно в подземелье. Он и вправду был в подземелье, вдали от дорог, в поле под деревней с таким памятным для него и ласковым названием — Любаши.

Однажды он внезапно проснулся от гула, что глуховатой могучей волною откуда-то плыл в блиндаж, но, послушав, подумал, что это, верно, гудит техника на шоссе за торфяником. Мощное шоссе было все же довольно далеко от участка второго батальона, он это помнил из карты, которую держал в руках на КП, еще когда они готовили здесь оборону. Жаль, что тогда он не очень интересовался окрестностями, не посмотрел, где еще были деревни. Хотя к чему ему теперь деревни, разве он дойдет до них?..

Неизвестно уж, спал ли он или едва держался на грани потери сознания, но как-то сразу услышал близкие от траншеи шаги и схватился за пистолет. Слушал с колотящимся сердцем в груди, ожидая услышать голоса, чтобы определить — кто? Да не услышал ничего. Тихие шаги человека, который вроде подкрадывается, останавливается, слушает, доносились сзади от блиндажа, на тыльном боку траншеи, и он вдруг всполошился, что упустит эту редкую возможность обзваться. Но как было и обзываться? А если там немец?

И все же он не удержался, с пистолетом в руках выполз в траншею, упираясь в мокрые стены спиной и локтями, кое-как поднялся на ноги и подал голос. Вероятно, тот его голос прозвучал отчаянно и беспомощно, хоть он и старался придать ему силы и решимости, и он готов был стрелять.

Но это была женщина.

Теперь он будто обрел надежду и ухватился за нее. Он только боялся, чтобы женщина не обманула его, не утратилась слепого; быть может, она бы помогла. Как она могла ему помочь — он не знал; прежде всего, он просил поесть, так как, ослабев, чувствовал, что не протянет долго. Он просто подохнет здесь, в этой норе, прежде чем его найдут свои или немцы или он решится наконец пустить себе пулю в лоб. Это совсем уж было бы скверно, это было бы просто глупо...

Да, но что мог он, незрячий? Разве сам он выбрал себе эту судьбу? Он только стал ее жертвой, нелепой, обидной жертвой, которая пополнит и без того немалочисленный список жертв этой огромной войны.

3. Серафимка

Почувствовав недоброе, Серафимка прибежала на свой порушенный, обросший чернобыльником дворик и сразу увидела раскрытую сенную дверь. Все же дверь она закрывала, когда уходила утром, значит, там побывали. Серафимка бросила наземь лопату и метнулась к кадке, где в порыжелом слое соли она с зимы берегла два куска сала. Но где там! Рядом на земле валялась почерневшая крышка, а в кадке было пусто, одна соль на дне. Значит, взяли, чтоб их взял кровавый понос!

Серафимка вбежала в свою тесную холодную хатку, громынула заслонкой. Чугунок стоял на прежнем месте в остывшей печи, картошечку они не взяли. Тогда она привычно выдернула из шкафчика ящик — краюшка тоже уцелела, значит, все ж будет чем покормить человека.

Торопливо начала собираться в поле: завязала в старый платок миску с вывернутой в нее картошкой, поверх которой положила краюху и два соленых огурца из кринки — поесть голодному человеку покамест хватит. А там будет видно. Она очень спешила, будто боясь,

что опоздает, не спасет горемыку, поправила платок на голове и выбежала во двор. Пилипенков уже нигде не было видно — может, пошли на свой хутор или еще где-нибудь слоняются на пепелищах. Тут она впервые подумала, что про ее красноармейца никто не должен знать, тем более эти злодеи, от которых всего можно ждать. Еще донесут немцам, тогда кто знает, что будет. И ему, и ей тоже.

Снова начинался мелкий холодноватый дождик с западным ветром, в поле было неуютно, но, не очень замечая это, она торопливо бежала сначала дорогой, потом перекопанным снарядами косогором до торфяника. Воронки в низких местах уже стали наполняться водой на дне; в одной она увидела нечто подобное на одежду, хотя это мог быть человек, который будто бы плавал там, и только его спина высывалась поверх воды. Испугавшись, она шмыгнула в сторону, выбежала к траншее и долго плутала в траншейных лабиринтах, пока нашла знакомый с чуть поблекшим дерном взгорок. Похоже, это был тот самый блиндаж. Но теперь ее никто не встречал, зиял чернотой низкий вход в него, и она тихо позвала:

— Вы тутак?..

Не сразу в ответ послышался сдержанный стон, который еще больше встревожил ее, и Серафимка, едва одолевая страх, полезла в темень.

— Казали, поесть... Так вот принесла бульбочки...

Человек пластом лежал в углу на разостланной шинели, в полумраке едва белело его обмотанное бинтами лицо.

— Воды мне...

— Воды?..

Серафимка виновато удивилась: про воду она и не подумала, она несла поесть. Но, правда, если больной, раненый, надо ж воды, как же она не сообразила сразу?..

Узелок с миской она оставила в блиндаже, а сама выползла в траншею, размышляя, где бы взять воды? Кроме луж в воронках да на торфянике, другой воды вокруг не было, нужно бежать домой.

Где шагом, а где трусцой она преодолела страшный косогор, добежала до картофляника, тут стала спокойнее. Дождик все сыпал — мелкий, но неутихающий; она уже порядком промокла — и куртка, и юбка; босым ногам дождь был не страшен, хуже, что намок платок — второго такого теплого у нее не было.

Еще издали она всмотрелась в свой двор за вишенником — нет, кажется, нынче там не было никого. Соседская хата сгорела дотла: и постройки, и амбар, хлевки, остались только заборы да черная громадная Ахремова печь с закопченной трубой, какие-то рогули в истопке. На огороде, однако, покачивался на ветру крюк старого склоненного журавля над их общим колодцем. Там должно быть и ведро, жбан же Серафимка взяла свой в сенях и по тропке побежала к соседскому пепелищу, на котором еще кое-где слабо дымились уголья даже в дождь, вблизи увидела кучу камней на месте бывшего овина, да в истопке на прежнем месте стоял забросанный головешками Ахремов жернов, на котором и она когда-то изрядно помолола зерна. Своего жернова у нее не было. Этот же только обгорел немного с уголков деревянного желоба, а так камни были целы и готовы к работе.

Серафимка налила в жбан воды из колодца и вдоль забора снова отправилась в поле.

В этот раз блиндаж нашла быстрее, чем давеча, еще издали увидев приметный взгорочек, и, затаивая в душе страх от предстоящей встречи, влезла в блиндаж. Раненый, как и прежде, лежал на спине, лишь отрывисто бросил, едва услышав ее:

— Тетка?

— Она самая! Вот водицы вам.

Командир вытянул руку с растопыренными пальцами, в которые она вложила шейку своего жбанка, приподнявшись, глотнул воды и снова лег спиной на землю.

— Спасибо.

Она переняла из его рук жбанок и, не зная, куда тут приткнуться его, держала возле себя.

— Может, ты и спасешь меня, тетка? — помолчав, горестно сказал раненый.

— Так абы как-то можно было, — легко отозвалась она, стоя перед ним на коленях. — Вот перекусить вам, хлебца и бульбочки.

Не поднимаясь, он молча протянул к ней руку, и она подала ему краюшку, затем в другую вложила пару холодных позавчерашних картофелин. Командир с готовностью все взял, но тут же изнеможенно опустил на живот занятые едой руки.

— Спасибо вам.

— Так пожалста. Извините, больше нет ничего. Было сало, так Пилипенки забрали.

— Какие Пилипенки?

— А, худые люди. Здешние.

— Худые?

— Ага. Очень дрянные. Просто никчемные.

Командир помолчал, подумал и, все не поднимая рук с едой, спросил:

— А ты кто же будешь?

— Да баба. Колхозница. Серафимой кличут.

— Ну что ж, значит, Серафима? Семья у тебя большая?

— Не-а. Одна я.

— Одна?

— Одна. Одинокая, — грустно призналась Серафимка.

— В Любашах живешь?

— В Любашах, ага. Попалили Любаши, одни головешки остались.

— Да-а, — задумчиво сказал командир и смолк.

Она тоже молчала, не зная, что сказать еще.

— Ты никому только... про меня. Понимаешь? — сказал он, помедлив.

— А то как же. Я — никому.

— Может, я поправлюсь еще. А там... Посмотрим.

— Так поправляйтесь. Я вам буду носить что нужно.

— Спасибо, тетка. Видно, хорошая ты душа, — проникновенно сказал Хлебников, и Серафимка едва удержалась, чтоб не заплакать от похвалы этого бедолаги.

— Доктора б вам. Да где тут...

— Да, доктора... Но, наверно, увы. Может, если бы кого-то из начальства? Из прежнего руководства, может? Связаться чтоб.

— Кабы ж был кто! — сказала она. — А то в Любашах ни бригадира, ни председателя. Председатель так в Судиловичах жил. Партийный. Но остался ли теперь?..

— Да-а... Все рухнуло. Как в прорву... Немцев пока нет?

— Покуда не было. Может, обойдут?

— Нет, не обойдут. Скоро появятся, — выдохнул Хлебников и снова трудно и надолго замолк.

Может, он заснул или забыл о ее присутствии здесь — понятно, человек незрячий, — и она долго сидела тихо, как мышка, стараясь ничем не потревожить его. Хлеб и картофелины он все держал в руках, но ни разу не укусил даже. В блиндаже было, кажется, не холодно и сухо, не то что в траншее, одну сторону которой — видно было на входе — мочило дождем, и мутная вода с кровли тоненькой струей лилась в траншею.

Еще немного поразмыслив, Серафимка вылезла из блиндажа и вдруг оглянулась — почудилось, кто-то мелькнул невдалеке за обрушенным траншейным поворотом. Спohватившись, она постояла немного, послушала, повглядывалась, но никто там не появился, и она подумала, что ей померещилось. Тем более что уже стало темнеть от низких туч на небе, или, может, начинало вечереть; дождь все сыпал и сыпал с неба, везде по траншее сочилась вода, стекала на дно с разбитых, местами обваленных брустверов. Тогда Серафимка подумала, что сегодня она, видать, накормит раненого, но что он будет есть завтра? Об этом следовало подумать, и, пока не смеркалось, она вылезла из траншеи и ходко направилась по косоугору в деревню.

4. Обер-ефрейтор Хольц

Обер-ефрейтор Хольц в который раз украдкой подбирался к блиндажу, затаив дыхание, слушал. Он уже знал, что там прячется раненый русский, хотя еще ни разу не видел его. Зато он видел, как сегодня по склону пригорка вниз бежала русская женщина с узелком в руках — вероятно, несла сюда провиант. Действительно, вскоре она исчезла в траншее где-то вблизи того блиндажа, долго не появлялась оттуда, и Хольц, подкравшись по траншее ближе, пытался подслушать их разговор. Но слышно было плохо, к тому же мешал дождь — гулко лопотал по его напыленной на плечи одеревенелой плащ-палатке, хоть сбрось ее в грязь. Может, и стоило бы сбросить, чтобы услышать, о чем там говорили русские, да Хольц не был уверен, что, услышав, что-нибудь поймет — его познание русского языка было весьма скромным.

Как-то под городом Барановичи, где он два дня квартировал у русской хозяйки, он попробовал заговорить с ней, но ничего не понял, кстати, как и она его. Оказывается, как он выяснил позже, этот русский язык имеет еще диалекты, белорусский, например, понять который ему не помог и немецко-русский разговорник, находившийся всегда в кармане его шинели. Он носил его до той памятной ночной бомбежки в Орше, когда Хольц так нелепо потерял сапоги, санитарную сумку и шинель с тем самым разговорником. Правда, сансумку ему вскоре выдали новую, сапоги он добыл у фельдфебеля батальона Зудермана, а вот шинелью с разговорником так и не расстарался аж до этого ужасного боя. Как раз сейчас и то, и другое было бы ему как нельзя кстати. Особенно шинелька.

Все ж пока выручала плащ-палатка — штатная камуфляжная треуголка с металлическими проушинами по краям, без нее он, видимо, пропал бы.

Отойдя на три-четыре траншейных колена, обер-ефрейтор осторожно выглянул из-за бруствера — та женщина была уже далеко, может, на самом верху пригорка, теперь она бежала без какой-либо ноши — значит, узелок оставила у этого раненого русского. Интересно, какого она возраста, эта женщина, может, молодая, подумал Хольц. Раненый, должно быть, тоже молодой офицер или сержант, и у них, возможно, любовь, может, такая, как описывается в русских романах Толстого или Достоевского. Это, конечно, здорово, любовь к раненому солдату, она заботится о нем, лечит, носит еду и хранит верность навек. А когда он умрет, она поступит в монастырь и будет до конца своих дней молить за него Бога. Красивая любовь, жаль, у немцев такое не принято.

Хольц отошел по траншее от блиндажа, смелее посмотрел по-над бруствером — на косогор и на широкое раздолье торфяного болота, местами залитого водой. Местность здесь понижалась, было больше стоячей воды, дно траншеи превратилось в грязное месиво, и он далеко не пошел.

Под вечер становилось холодно, в траншеях гулял какой-то особенный траншейный сквозняк, он давно уже пробирал легко одетого обер-ефрейтора. Опять же, сыпал этот надоедливый дождь. Спрятаться от дождя здесь просто негде. Правда, на том фланге, ближе к дороге, было несколько пехотных нор, в которых можно немного укрыться от дождя. Но возле дороги более опасно, чем в этой болотистой местности, и Хольц старался там не показываться.

Прошлую ночь он промучился под разбитой сожженной машиной недалеко от шоссе, там крепко воняло паленой резиной и железной окалиной, и он больше дрожал под своей плащ-палаткой, чем спал. Где ему переночевать сегодня — он просто не мог придумать и с утра слонялся по траншее. Эти русские все же удивительно непрактичные люди, думал обер-ефрейтор: столько ладили оборону, столько накопили траншей, основных и запасных позиций, а крытых блиндажей обустроили всего два. Один разбило прямым попаданием снаряда, и там теперь будет разить от неприбранных, разорванных в клочья трупов, второй вот занят этим раненым. Хоть выкуривай его оттуда гранатой. Или просись у него на ночлег.

Чтобы очень уж не вытыкаться из мелковатой, по грудь, траншеи, Хольц присел в ее не самом сухом месте, заслонился мокрой плащ-палаткой и стал думать о своей горькой судьбе,

которую ему уготовила война или, может, больше чем война — его излишне строптивый, неуравновешенный характер. Хотя он знал, что на войне не очень помогали и железные нервы, трезвые головы и выдержка, война всех побеждала своей толсторылой логикой. Уж насколько имел железную выдержку его друг, классный радист Франк, который под носом у русских корректировал артиллерийский огонь, он имел железный крест и три дня тому погиб от русского снаряда. Второй его друг и земляк Кристоф Шмидт, спокойный гренадерский унтер-офицер, в прошлом студент коммерческого факультета, тоже кончил куда уж хуже: после тяжкого ранения ему ампутировали обе ноги, и теперь он ездит в инвалидной коляске по улицам своего Оберхаузена. Что же касается толстокожего саксонского битюга, их командира батальона гауптмана Линхарда, то его ненавидел весь батальон и особенно он, обер-ефрейтор Хольц. Из-за этой самой своей нелюбви к гауптману он, Хольц, и очутился в своем нынешнем драматичном положении.

Таких, как Линхард, полуграмотных солдафонов-выскочек в предвоенные годы появилась уйма в вермахте, где они стали главной опорой нацизма, так как были свободны от груза морали, образованности или хотя бы какой-либо минимальной культуры и молились только одному идолу — фюреру. И пускай бы себе молились, пожирая один одного, но для войны им этого стало мало, понадобилась пропасть людей иных сортов — запасников, коммерсантов, интеллигентов, которых они не воспринимали как солдат, а потому и как людей тоже. Хольцу еще повезло, он был только относительно подчинен этому Линхарду, поскольку как обер-ефрейтор санитарной службы имел некоторую независимость в батальоне. Во всяком случае, по подчиненности это далеко не настолько, как для любого командира штурмовой роты. Тем не менее, и ему доставалось от тупорылого саксонца, в прошлом мельника и кайзеровского фельдфебеля, который только при нацизме дотянулся до офицерского чина.

Возможно, два дня тому назад Хольц поступил не по-христиански и, наверное, нарушил присягу, но, посланный адъютантом Прошке вытащить с поля боя раненого гауптмана, он вдруг подумал: а если не тащить?.. Линхард лежал в канаве с распоротой, окровавленной брюшиной, жить ему оставалось немного. Бой был ужасающим, и Хольц еле дополз до гауптмана под адским огнем русских “максимов”, а тут еще ползти с ним обратно... К тому же, этот Линхард был с центнер весом и метра два ростом. И как было далеко не атлетического склада Хольцу волочь его два километра до торфяника? Двое тех, что попытались это сделать, лежали рядом, уткнувшись пробитыми головами в придорожную траву. Хольц торопливо перевязал рану тут же потерявшему сознание офицеру и, подождав, пока немного стихнет русский огонь, ползком двинулся по канаве назад. Он рассудил, что до вечера русские здесь пройти не дадут, а Линхард вскоре отдаст концы, не потребуется куда его волочь.

Кое-как выбравшись из-под огня на батальонный КП, он бодро доложил адъютанту, что гауптман Линхард, к сожалению, мертв и эвакуировать его в тыл пока нецелесообразно. Каково же было удивление обер-ефрейтора, когда через пару часов фельдфебель Шнитке, этот рыжемордый мясник из Тюрингии, приволок живого еще гауптмана, и тот, прежде чем окочуриться, пожаловался на него, обер-ефрейтора Хольца, что тот нарочно не эвакуировал его из-под огня. Адъютант тотчас же приказал арестовать обер-ефрейтора, но пока в лихорадке боя искал для него конвоиров, Хольц не стал ждать. Сразу поняв, чем для него это кончится, он украдкой выбрался из КП на торфяник, нашел порядочную ямину с водой, под берегом которой и просидел до вечера, напряженно обдумывая свое положение, но так и не придумал ничего.

Батальон тем временем выбил русских с их обороны и стянулся на шоссе. Хольц тогда пробрался с торфяника в пустую русскую траншею и засел тут, не зная, что делать дальше. Вернуться в батальон он не мог, для батальона он стал уже дезертиром, пробираться в тыл было более чем опасно; видно, сдаться русским в плен — было единственным, хоть и далеко не самым для него лучшим исходом.

Но где те русские? И как добраться до них? В боевой полосе его в первую очередь

схватят свои же, немцы, тогда будет позор, военно-полевой суд, может, даже расстрел. На вечное горе его мягкой ласковой матери. Об отце, довольно крутом по характеру человеке, он боялся даже подумать: у отца определенно будет сломана вся его университетская карьера с недавно заслуженным профессорским званием. Он уже знал о новой традиции наци: в подобных случаях жестко взыскивать не только с непосредственного виновника, но и со всей его родни. Как же об этом он не подумал раньше?.. Но разве он предполагал, что этот саксонский боров окажется таким живучим даже при своем смертельном ранении? Теперь ему черт знает что делать дальше.

Может, лучше застрелиться?

Но застрелиться он, наверное, успеет, парабеллум всегда под рукой, в твердой кожаной кобуре. Только что пользы от пистолета, когда здесь пустая разбитая траншея и нигде ни куска хлеба, ни сухаря, ни галеты. В траншее сплошь пустые стрелковые ячейки, села ж вокруг сожжены, жители их покинули, куда-то разошлись. Третий день он ничего не ел и отощал так, что не успевает подтягивать на животе отвисающий с пистолетом ремень. Да еще эта санитарная сумка с полевым комплектом медикаментов. Сумку он уже едва таскал на плече, все намеревался где-нибудь бросить, да почему-то не бросал, нечто останавливало его, будто знал, что она еще послужит. Теперь, подвинув ее на колено, Хольц неожиданно подумал: а что?.. А что если он заявится в тот блиндаж как медик и поможет русскому? Ведь если тот ранен, вряд ли ему обойтись без медицинской помощи, которой здесь ждать больше неоткуда. Русская женщина — конечно же, не врач.

Обер-ефрейтор поднялся и пошел по траншее назад. Удивительно, думал он, невзирая на зверский огонь немецкой артиллерии и минометов, убитых здесь немного, больше там, возле дороги, а на этом участке он не видел ни одного трупа. Или, возможно, русские забрали с собой убитых? Только вряд ли. Скорее всего, этот участок траншеи не был ими занят и служил в роли запасной или отсечной позиции. Ну да это, может, и к лучшему, Хольц не любил трупов — ни своих, ни русских. Еще когда учился на медицинском факультете, долго не мог привыкнуть к ним в анатомическом флигеле и обычно после занятий там до конца дня не мог съесть ничего, обходился кофе. Теперь, правда, это прошло, и — было бы что — съел бы рядом с любым трупом. А вот у русского как раз должно быть, должно же хоть что-нибудь остаться из того узелка.

Он снова тихо подкрался к последнему повороту траншеи, глянул на вход в блиндаж. Но в черноте норы-входа ничего не было видно, будто и не было никого. Не нарваться бы на пулю, подумал Хольц. А чтобы не нарваться, разумней всего было провести некие переговоры, и он, все еще стоя за поворотом, тихо кашлянул.

В блиндаже по-прежнему было тихо, никто оттуда не выглянул, но Хольц почувствовал, что его все ж услышали. Тогда он взял с бруствера мокрый ком земли и швырнул его ближе к входу.

— Кто? Серафима? — глухо донеслось из блиндажа.

Первое русское слово Хольц понял определенно, но не мог сообразить, что же означает второе, и снова тихо покашлял.

— Кто там? Не подходи! Стреляю! — совсем уж грозно раздалось в блиндаже, и Хольц немного удивился: ого, как свирепо!

— Их... Я нэмец, — сказал он.

— Прочь! Стреляю! — слышалось из блиндажа.

— Нихтс бояться, — как можно спокойней сказал Хольц. — Их... Я бояться. Я есть дезертир.

Неожиданно для себя он заволновался и перепутал личные местоимения, но, видно, русский его все же понял, ибо помолчал немного и снова крикнул:

— Бросай оружие! Не подходи!

Этот ответ немного смутил обер-ефрейтора: если бросать оружие, так ведь можно было б и подойти? Но этот командует не подходить. Тогда он решил переиначить разговор:

— Рус, я ест доктор. Медицина.

— Какой еще доктор?.. — звучно донеслось из блиндажа вместе со знакомым уже Хольцу русским матом, который, однако, дал обер-ефрейтору понять, что его слова произвели впечатление. И он решил тут же закрепить свой маленький успех.

— Их... Я немного перевязаль...

В блиндаже повисло молчание, угроз больше не было, и Хольц решился. Немного приподняв над плащ-палаткой руки, чтобы убедить, что он без оружия, он вышел из-за поворота. Но только он сделал первый шаг, как в блиндаже раздался крик и тотчас бахнул пистолетный выстрел. Пули он не услышал, однако шустренько отпрянул назад, за земляной вал.

— Рус-дурак. Обормот! — сказал он со злостью.

Тогда после недолгого молчания из блиндажа глухо послышалось:

— А закурить есть?

— Курить? Таб-ак? — удивился Хольц.

— Да, табак. Есть табак?

— Сигареты.

— Ну, давай, лезь, черт с тобой!

Хольц удивился, у него была в кармане начатая пачка дешевых сигарет, но он теперь не курил — голодный, он обычно терял к ним охоту.

На входе Хольц ожидал увидеть русского с направленным на него оружием, но не увидел никого. Тогда он опустил руки и, согнувшись, полез в нору.

— Рус, ни хтс боялся. Их... Я дезертир, — тихо говорил он, уверенный, что будет услышан.

Здесь же в просторном пустом блиндаже он увидел русского, тот с забинтованной головой лежал в углу, и в его ослабевшей руке подрагивал направленный на вход пистолет.

— Ни хтс пистоля! — мирно сказал Хольц, уже убедившись, что перед ним слепой. Грязная, неумело наложенная повязка сползла до кончика носа, из-под нее по заштитневшему подбородку стекали гнойные выделения, от которых вымазалась и взялась пятнами гимнастерка у ворота. — Майн гот! — сказал Хольц. — Это ест очень плехо. Будет перевязать.

— Дай закурить! — в первую очередь потребовал русский, не выпуская из руки пистолета.

Хольц нашел в кармане измятую пачку сигарет, вытянул одну и вложил в испачканные пальцы слепого. Затем достал из нагрудного кармана зажигалку, долго щелкал синим огоньком, пока та загорелась, и поднес русскому. Тот жадно затаился, выпустил дым и улегся на шинель.

Русский молчал, все еще жадно всасываясь в сигарету, но пистолет опустил, и Хольц решительно расстегнул санитарную сумку.

5. Серафимка

Придя домой, Серафимка, не раздеваясь, засновала по своему жилищу, движимая новыми хлопотами. Надо было глянуть, что у нее осталось после недавнего разорения, чем она будет кормить раненного командира. Сала уже не было, это точно, хлеба тоже. Но в сенях она нашла в коробе под скамьей пуд ячменя, недавно намолоченного со своих соток, выходит, эти Пилипенки все ж не заметили его, не взяли. Ячмень она истолчет на крупу — будет каша или суп, в этом ей все же пофартило. Хуже, что не было ни зернышка на хлеб. Зато в большой глазурированной старосветской корчаге она уберегла от мышей и воров килограммов несколько прошлогодних бобов — тоже со своего огорода. Ну, и бульбочка-картошечка. Картофель ее был еще не выбран, собиралась выбрать, все откладывала, вот и дооткладывалась... Надо быстренько накопать бульбы, пока совсем не стемнело.

Уже почти в темноте она ковырялась с лопатой в своих бороздочках, собрала неполную корзину, когда услышала недалекий голос. Голос был тихий, мужской, слышался, похоже, со

двора, и она сразу вспомнила тех Пилипенков. Но это были не Пилипенки — Серафимка тут же поняла это, когда увидела в сумерках человека, который тихо ждал ее. Она несмело подошла с корзиной и лопатой в руках, и человек сдержанно поздоровался.

— Что, Серафимка, жива?

— Жива, — ответила она, медленно, будто на ощупь, узнавая человека. Кажется, это был в прошлом местечковый учитель Демидович. Но как он очутился здесь, за двадцать километров от местечка?

— И хата, гляжу, уцелела?

— Где там уцелела, — тихо посетовала Серафимка. — Только что стены. А так — ни кровли, ни окон. И печь потрескалась, вон труба...

— У других и того не осталось.

— Не осталось, ага. Все Любаши сожгли.

— И Любаши, и Жавриды, и Вострава.

— Страх один!

— Ну так, может, зайдем в хату?

— Да-да... Вы ж тут были как-то... Еще с Николаем.

— Десять лет тому, — подтвердил Демидович.

Она отворила дверь в сени, прошла оттуда в темную хату. Здесь, как и на улице, было выстужено, холодно, из позатыканых подушками и лохмотьями окон ощущалось дыхание ветра.

— Темно, осветить нечем, — сказала она. — Вот на скамью присядьте.

— А светить и не нужно, не то время, — согласился гость. — Я сяду.

— Ага, вот здесь.

Демидович тяжело со вздохом опустился на скамейку перед печью и смолк. Серафимка тоже молчала, ожидая услышать от гостя о его нужде. А тот все спрашивал у нее:

— Кто-нибудь еще уцелел в деревне?

— Все попалено. С этого конца так одна хата и осталась.

— Значит, повезло тебе.

— Повезло.

Снова помолчали, и она стала немного беспокоиться, ведь ждали дела, нужно сварить бобы или истолочь крупу, а этот человек занимал время, не говоря, что ему нужно. И тогда она расслышала, что дышит он с натугой, как-то часто и неглубоко, как дышат очень простуженные люди.

— Серафима, мне... переночевать нужно.

— Вот как! — почти искренне удивилась она.

— И это, простыл я.

— Ай-яй, — посочувствовала она. — А дома?..

— В том-то и дело, что домой нельзя мне. Теперь как партийному... Сосед же у меня пришел, Асовский. Тот, репрессированный...

— Ой-ей! — совсем уж удивилась Серафимка от порога.

Репрессированного четыре года назад Асовского она немного знала, видела на улице, когда жила у брата в местечке. Он всегда задумчиво ходил с портфелем, немолодой уже мужчина, в очках без дужек, с тонкой седоватой бородкой, и никогда ни с кем не здоровался, будто не замечал никого. Говорили тогда, что этот Демидович где-то выступал против Асовского, и если тот вернулся, то в самом деле...

— Так это самое... Уж ты меня не прогонишь?

— Ай, что вы говорите! Как же я прогоню!

— Вот я так и подумал: Серафима не прогонит. Все же мы с ее братом вон как дружили.

Он крепко закашлялся — плохим застарело-простуженным кашлем, когда так трудно откашливается и все хрипит в груди. Серафимка нахмурилась, конечно, нужно помочь больному человеку, но было и боязно: а вдруг утром опять припрутся Пилипенки? Уж,

наверное, сейчас они не лучше того Асовского, и как бы не накликают беды на обоих? Но ведь и как откажешь человеку, когда такой холодище?

— Вот только печь у меня выстуженная, дым не идет. Но вы уж в запечье...

— Хорошо, — покорно сказал Демидович и поднялся со скамьи.

Она что-то кинула-положила на нары в запечье, взбила свою подушку. Он лег, не раздеваясь, и она накрыла его старым тулупом.

Слабым голосом он попросил:

— Может, еще чем накроете? А то трясет всего.

Она набрала каких-то лохмотьев и старательно укутала и голову, и ноги Демидовича, который, слышно было, и в самом деле трясся даже после этого.

— Зелья вам нужно заварить. Ну вы лежите, а я, может, в грубке затоплю.

Все кашляя, он остался в запечье, а она принесла дров и принялась растапливать грубку. Постепенно, как бы нехотя, дрова все же загорелись. Дым немного сочился сквозь дверцу, но шел и в дымоход — все же было лучше, чем в печи, откуда он весь валил в хату. Вот только сварить что-либо в грубке было тесно и неловко, нужно было ждать, когда немного перегорят дрова.

Накашлявшись, Демидович, видать, уснул. В хате, как всегда, стало тихо и глухо, дрова помалу горели, и она, примостившись на скамеечке перед дверцами грубки, начала чистить картошку. Маленький чугунок с водой кое-как пристроила сбоку, возле огня, это на зелье. В сенях у нее было припасено немножко сушеного малинника, чебреца в мешочке и еще одной травы — заячьих хвостиков, которая, говорили, здорово помогает от простуды.

Давно не беленный, ободранный бок грубки понемногу теплел, но холод в хате пока не уменьшался, по-прежнему сквозь щели из окон задувал ветер. Привычно сгоняя с картофелины тонкие очистки, Серафимка думала о брате Николае. Он был одноклассник этого Демидовича, они вместе учились в педтехникуме, еще в давние года молодыми парнями приехали в местечко учительствовать — Демидович преподавал историю и обществоведение, а ее Николай — белорусский язык и литературу. Они хорошо дружили и даже некоторое время квартировали совместно в длинном, как сарай, доме у хромого Рывкинда за синагогой, до тех пор пока Микола не женился на учительнице начальных классов. Тогда Демидович и перешел на квартиру к этому Асовскому.

Когда у брата родилась доченька Аленка, Серафима перебралась из деревни в местечко нянчить маленькую и постепенно стала почти полновластной хозяйкой в небольшой семейке брата: смотрела за девочкой, ходила на рынок, в магазины, убирала, готовила еду учителям, которым вечно было некогда — весь день в школе, а вечерами над тетрадами, готовились к урокам. Кроме того, Николай вскоре втянулся в общественные дела, ставил в РДК спектакли и даже пару раз водил туда и ее — когда играл сам с женой Ядвигой Ивановной. Помнится Серафиме, постановка была очень смешная: как к молодой девушке подбивался пожилой шляхтич, а она не хотела выходить за него, любила со своим молодым парнем. Так уж смеялись тогда все, а Николай и другие артисты радостно кланялись со сцены, и Серафимку захлестывала гордость, ей хотелось сказать всем, что это ж ее родной брат такой умелый артист... Кажется, Демидович тогда тоже участвовал в пьесе, а потом они всей компанией заглянули к ним на квартиру, выпивали. Серафима угощала их клецками — было это как раз на мясоед среди зимы.

Да, дружили, работали вместе, а когда и что произошло между ними — Серафимка не знала по сей день. Помнит лишь, как однажды, поздно придя с какого-то собрания, Николай показался ей вконец расстроенным, просто обозленным даже, Ядвига Ивановна все уговаривала его, утешала, а он покачивал головой и чего-то не мог постичь.

Назавтра утречком, оставшись одна с невесткой, Серафима спросила за брата, и та скупо ответила:

“Обвинили в национализме”.

“В чем?” — не поняла Серафимка.

“В том, хуже чего не бывает”, — туманно объяснила невестка.

Серафимка больше не спрашивала, Николай понемногу стал спокойнее, по-прежнему учил в школе, а то ездил во время разных кампаний по району — шла как раз коллективизация, и он, как партийный, был в разъездах по самым дальним уголкам района. Спектаклей больше не ставили, дома не собирались, в РДК каждый вечер проходили то собрания, то слёты, то конференции, но Серафимка на них не ходила, и о чем там говорили — не знала. Она только поглядывала с тоской, как Николай все больше мрачнел и чахнул, становился все молчаливее, дома никогда не шутил даже с женой и как бы отчурался от ребенка, что уж совсем было непонятно Серафимке.

Малой Аленке было годиков шесть, это была живая смешливая девочка, Серафимка очень любила ее — даже больше, чем брата с невесткой. И вот однажды, когда она купала в корытце маленькую, та вдруг говорит:

“А я знаю, почему папка вчера плакал”.

“Плакал?” — ужаснулась Серафимка, такого она и не подозревала даже.

“Плакал. Потому что он искривил линию”, — бодро проговорила малая, сидя в мыльной воде.

“Какую линию?”

“Ну, ту, ну, ту... Наверно, ту, что у дяди Петруся в портфеле”, — придумала племянница.

И Серафима сначала чуть успокоилась, а потом задумалась. Видать, все ж это была не та линия-линейка, которую носил в портфеле учитель рисования Петр Петрович, то была некая иная линия, когда из-за нее плакал взрослый мужчина, учитель, ее брат.

Она хотела расспросить обо всем Николая, да не решилась, брат по-прежнему был нервный, молчаливый, несколько раз, слышала она, в их комнатенке поднималась ссора с женой, но из-за чего — сколько Серафимка ни вслушивалась из кухни, понять не могла. “Принципиальность, уклон, искривление” — кого и куда — могла ли она разобраться с ее тремя классами?

Тогда же, помнит, как-то вечером в начале весны к ним заглянул Демидович с поллитровкой в кармане. Она собрала того-сего на стол и слышала, как они разговаривали, больше ругались, отчаянно, враждебно, и расстались поздно, в полночь, обозленный Николай даже не встал из-за стола проводить друга.

Больше Демидовича она у них не видела. Да вскоре вообще белый свет потеряла из виду, плакала целыми днями, а позже и совсем вернулась в свою углую хатку на окраине Любашей. Это когда брата арестовали, а невестка Ядвига Ивановна через месяц отказалась от него на каком-то большом собрании и дома злобно сказала, чтобы Серафимка выбралась к Первомаю, ибо она, Ядвига Ивановна, не хочет иметь ничего общего ни с врагом народа, ни с его родней.

Уж сколько лет минуло с той весны, а все помнится, будто живое, и болит, будто это случилось вчера. Тяжело Серафимке уразуметь, кто тогда был прав, кто виноват, и в чем грех ее единственного брата; может, и правильно его посадили. Только очень больно ей прежде всего за невестку: уж, кажется, любил ее Николай, как только можно любить мужчине, бывало, чего-то сам не съест — все чтоб ей осталось. Какая копейка — ей на наряды, чтоб выглядела не хуже других. Этак же, глядя на него, относилась к невестке и она, Серафимка. Уважали в той семейке брата Ядвигу Ивановну пуще всех остальных. Даже больше, чем малую, которая всем несказанно нравилась, и спустя годы Серафимка, как вспоминала ее, так сразу и в слезы — от тоски по маленькой Аленке...

Демидович спал плохо, с вечера люто, надрывно кашлял, пока не согрелся под тулупчиком Серафимки. Среди ночи Серафимка напоила его отваром из трав, и он стал немного спокойнее, может, уснул крепче. А Серафимка так и не уснула до утра, все топила-нагревала грубку, чтобы было теплее хоть в запечье, правда, добиться этого в дырявой, как решето, хате было непросто. Затем варила картошку. Толочь ячмень ночью она не решилась, боясь потревожить гостя, и сидела перед грубкой, то подкладывая туда дрова, то сгребая в кучу угли.

Так проходила ночь, и едва занялось на зарю, она начала собирать узелок. Прежде налила в банку свежей воды, положила в меньший чугунок бульбы. На этот раз отсыпала из солонки в чистую тряпочку горсть соли, подумала: что бы еще взять с собою в траншею, чем угостить беднягу раненого? Лекарств, кроме трав, у нее не было никаких, но травы незрячему, похоже, не помогут. Демидович, кажется, спал, под утро почти не кашлял, и она затаилась, чтобы услышать его дыхание, по-прежнему частое и хриплое. Будить не стала, пускай спит. Может быть, никто его не потревожит, а она скоренько сбегаёт и вернется до завтрака — чуток бульбочки она оставила ему и себе в накрытом чугушке в грубке.

Во дворе, прежде чем выйти на улицу, постояла, вслушиваясь. Похолодевший за ночь ветер напористо дул с севера, но дождя не было. За оградой жалостно мяукал чей-то осиротелый кот, видно, соскучившись по человеку. На смрадном соседском пепелище ветер раздувал искры, и те низко летели над огородом в недалекий садик. Над полем уже светлело, и Серафимка бодренько потопала знакомой дорожкой вдоль картофельной нивы в поле.

6. Демидович

Демидович уснул, должно быть, под утро, с вечера его то и дело сотрясал кашель; сколько он ни сдерживал его — все равно не отцеплялся, аж разрывалась грудь. Все же он постепенно согрелся — впервые за последние четыре ночи: видно, травы Серафимки имели какую-то силу.

Демидович очень страдал — от простуды, неприкаянности, а пуще всего душевно — оттого что так неожиданно рухнул мир, где он привык существовать, действовать, жить. Поругались все устоявшиеся мерки, отношения, а главное — загадочно, непостижимо переменились люди. Те, кого он знал много лет подряд, даже сызмальства, с кем жил и работал годами, ныне, когда грянула эта беда, стали иными. Стали непонятными, чужими к строю или недобрыми к нему лично — кто знает. Хорошо было тому, кто успел приобщиться к армии — все же войско спланируется дисциплиной, приказом начальства, присягой, наконец. А каково тем, кто вынужден был остаться под оккупацией, как им быть?.. Демидович, к своему несчастью, хоть и считался когда-то командиром запаса, но ввиду болезни туберкулезом был освобожден от службы в армии вчистую, о войске он не мог даже мечтать. Так вышло, что он остался здесь, под немцем, конечно, имел такое-сякое задание от соответствующих органов. Но вот ведь случай! Мог ли он думать, что сразу, как придут немцы, в местечке появится и Асовский, тот самый правый уклонист, к разоблачению которого когда-то приложил руку и Демидович. Правильно приложил, ибо такого, как этот инспектор района, надо было репрессировать еще лет на десять раньше. Но тогда приняли во внимание его педагогический опыт, высокое образование (подумаешь, окончил Петербургский университет; теперь кто не знает, чему учили в том университете). Да и какого класса происхождением — осталось не совсем выясненным. Демидович же окончил педтехникум, но был сыном крестьянина-батрака (к сожалению, не рабочего, как их заврайоно Крюков), и уж в классовых вопросах ему не было нужды долго разбираться — классовые интересы он ощущал нутром.

Стычки с Асовским у него начались еще в тридцатом году, как только Демидович приехал в местечко учителем и начал принимать активное участие в общественной жизни сперва комсомола, а затем партии, когда стал партийцем-большевиком. Стычки происходили по причине, что в то время как он, Демидович, всеми силами и устремлениями поддерживал политику партии и руководства, этот Асовский со всего пытался сделать исключение, в отношении каждой кампании имел свою позицию. И главное — нагло высказывал ее, невзирая на присутствие начальства из района или даже округа, как он не раз это объяснял — по праву старого большевика — на самом деле давно беспартийного, так как еще в двадцатые годы его вычистили из ВКП(б). Естественно, Демидович не мог терпеть этих вылазок почти не замаскированного врага и давал ему надлежащий отпор.

Все это было просто, обычно и правильно по тому времени, разве что в его случае

немного усложнялось тем обстоятельством, что он квартировал у этого самого Асовского в доме, располагавшемся рядом с церковью, и когда того репрессировали, занял его собственность. Ну а как было не занять пустой дом? Супруга Асовского Маргарита Леопольдовна тогда уехала в Ленинград к сыну-инженеру, и Демидович был единственным претендентом на это завидное строение, ибо лет пять теснился в его боковушке за кухней. Правда, семья Демидовича была небольшой — он да жена, детей они не имели — какие уж дети у туберкулезника? Занял-таки добротный дом, и все бы ничего, если б некоторые не начали назойливо подчеркивать, что, дескать, потому и посадил, что польстился на жилплощадь. Но не льстился, а так получилось. И хуже всего в этой истории то, что Николай Тарасевич, его юношеский друг, тоже поверил в его корысть. С того и началось.

Если уж начнется — поди угадай все последствия и предусмотрй течение событий в тех раздражительных отношениях, они способны повести за собой тебя сами, иногда наперекор твоему личному желанию. Так произошло и с Николаем. Сначала как-то повздорили жены, жена Демидовича Полина Александровна однажды вечером пожаловалась на Ядвигу Ивановну, он подумал: вздор, промолчал даже. Но через несколько дней сам услышал на перемене, как женщины-учительницы вспоминали его имя именно в связи с его квартирой. Стало обидно, и он при случае сказал Николаю, чтобы тот немного укоротил язык своей супруге. Тот не стерпел, заносчиво ответил в том смысле, что не нужно было давать повода, не понадобилось бы и укорачивать языки людям.

“Это каким людям?” — взвился Демидович.

“Сам знаешь, каким”, — сказал Николай Тарасевич, и разговор на том оборвался.

Разговор-то оборвался, а конфликт этим не исчерпался. И когда вскоре на партактиве в докладе секретаря райкома Катускина были подвергнуты критике некоторые учителя района, преимущественно за националистический уклон, в прениях выступил Николай Тарасевич, явно выгораживая тех учителей. Тогда взял слово Демидович и, глядя в глаза своему недавнему другу, сказал, что вместо того, чтобы оправдывать других, товарищ Тарасевич должен был бы прежде признать собственные промахи в этом вопросе: и как нахваливал “Новую землю” Коласа, некоторые стихотворения Купалы, и как недооценивал пролетарскую поэзию Чарота и Александровича. Он тогда многим открыл глаза на истинную сущность учителя белорусского языка и литературы Тарасевича и нисколько не раскаивался в этом. С большевистской прямоотой он сказал правду, ничего не придумал и не утаил. О “Новой земле”, например, сколько они переговорили в те годы, когда были наиболее дружны. Тарасевич тогда был в восторге от этой безусловно вредной кулацко-националистической поэмы. А между тем, сами Колас и Купала выступали в печати с чистосердечным признанием собственной контрреволюционной деятельности, которую донныне не мог распознать в их творчестве член партии и учитель Николай Тарасевич.

Их дружба с того времени, конечно же, ухнула, Тарасевича через некоторое время посадили, но за что конкретно — этого Демидович не знал. К той посадке он не имел совершенно никакого отношения. Тут его совесть чиста. В то время он уже работал в райкоме, и с посадкой Тарасевича, должно быть, постарались другие. Но не Демидович...

Где-то среди ночи его разбудила Серафима, принесла кружку горячего питья, которое пахло чебрецом. Он сонно пил, обессилено, без желания, будто застарелый больной, и, выпив, пластом свалился на лохмотья Серафимы. Как будто немного согрелся, хоть лихорадка не оставляла насовсем его простуженное тело, но внутри стало легче, он покашлял и раскрыл глаза.

Серафимка горестно вздыхала, по темному и низкому потолку блуждали туманные отблески из грубки, и Демидович удивился своей неожиданной мысли: вот где так безотказно нашел убежище... Думал ли он когда-нибудь, что в самый для него трудный час приветит его эта темная женщина, родная сестра его, можно сказать, идейного врага? Если б это раньше случилось, при встрече с ней он бы не поздоровался даже, сделал бы вид, что незнаком. В самом деле, иметь какие-либо связи или поддерживать знакомство с семьей врагов народа, националистов и контрреволюционеров было более чем неразумно — было

преступно, и многие поплатились за это. Он же всегда стремился ничем не запятнать свою честь большевика-партийца.

Тогда в местечке, когда вернулся этот Асовский, его не было дома, он помогал шурина чинить гонтом кровлю на истопке, куда они ссыпали выбранную в огороде бульбу. Когда прибежала жена с ошеломляющей новостью, он не поверил даже, но, похоже, она не ошиблась. Асовский, говорила, старый уже и обессиленный, приперся после обеда в дом и в первую очередь спросил о Демидовиче. С какой целью он это спрашивал — было понятно без дальнейших уточнений; жена ему что-то не очень правдоподобное соврала и побежала предупредить мужа. Услышав новость, Демидович на несколько минут растерялся, а затем выразительно посмотрел на шурина и впервые увидел, как этот добрый, простодушный человек отвел глаза. Демидович еще ни о чем не попросил его, а тот уже забормотал о детях, что они еще маленькие, и что он человек рабочий, ему один черт, какая власть, была бы картошка да кусок хлеба к ней. Демидович понурил голову, умолк, а когда наступил вечер, бросил в сумку кусок хлеба да сала и простился с женой. Знакомых в районе у него было полно — учителей, партийного актива, колхозников, думал: может, и хорошо, что шурин не принял — найдет не хуже пристанище в каком-либо глухом месте. Может, еще лучше будет.

Первым делом он направился в Замошьевский сельсовет, ближе к пуще; это был самый глухой и далекий угол в районе, и там, в Замошье, был у него друг, тоже учитель, Прокопенко, с которым он три года подряд принимал участие в агиткампаниях. Опять же, Демидович не раз бывал там уполномоченным в подписке на заем и знал многих людей. Уж там ему не дадут пропасть, там ему помогут.

Чтобы не досаждать излишне кому-то, пошел ночью, проселками, отмахал километров тридцать и под утро постучал в знакомое высокое окно Прокопенка. Боялся, что не застанет его дома, может, тот подался в эвакуацию. Ан нет, Прокопенко был дома. Вскоре они уже сидели на кухне, выпили по рюмочке и сетовали на общую их беду.

Обстановка в Замошье тоже была непростая, некоторые из людей, даже честных и тихих, теперь начали показывать свой норов. Прокопенко рассказывал, как его вчера на улице остановил одноглазый Зуб и пригрозил: дескать, ваша власть кончилась. Прокопенко все же решил с ним поговорить, ему важно было понять, почему так вдруг переменялся этот работающий человек, отец семерых детей. Оказывается, тот не переменялся, он всегда помнил, как уполномоченные с Прокопенком взыскивали с него деньги на заем.

“Так что ж ты хочешь? — сказал Прокопенко. — Раз подписался, надо было и платить”.

А тот ему:

“Напомнить вам, как подписывали? Если память короткая?”

Как подписывали — Прокопенко помнил и потому свернул ненужный разговор. И теперь вот сидит, как на угольях, ждет. Ушел бы куда в лес, если б не семья да двое малых. Куда от них денешься?

Демидович совсем помрачнел, готов был впасть в отчаяние и спросил только:

“Ну хоть до вечера можно побыть?”

“До вечера можно, — говорит, — но не дольше. Сам понимаешь...”

Что ж, он понимал, все же он был человек с сердцем и не желал беды детям Прокопенка.

Полежав на чердаке до вечера, он, когда смерклось, взял свою сумку и начал прощаться.

“И куда ж ты теперь?” — спросил друг.

И Демидович сказал:

“А никуда”.

Он и вправду не знал, куда податься. Лучше бы в лес, если бы было лето, но, к сожалению, лето кончилось, на пороге стояла осень. Дули холодные ветры, рыжие листья с берез падали Прокопенку во двор...

Ночью, идя по пустой и вязкой дороге из Замошья, он подумал, что, видно, приюта у прежних друзей не найдет — те сами боятся, ибо, конечно же, все на подозрении. Сложно

было и трудно все предвоенные годы, накопилось много горечи в отношениях между своими же, остались недобитые и недораскрытые враги, которые теперь вот показывают клыки и надеются на немцев. Думая об этих, недобитых, Демидович начинал закипать от злости: недосмотрели, не разгадали в свое время. А уж старались! Но никакой работы, наверно, не бывает без брака, особенно в такой работе, как классовая борьба; а что было бы, не будь этой борьбы, чтобы никого не репрессировали, не ссылали? И все те явные и тайные враги дожили до этой поры? Страшно подумать даже, что тогда было бы! Порезали бы в первую же ночь оккупации все руководство, партийный актив, всех, кто помогал органам. Нет, таки, правильно их давили все двадцать лет.

А может, и не совсем правильно?.. Может быть, пусть бы жили себе мужики, не трогали бы их — не имели бы зла и они. Земли было достаточно, все, кто хотел, после революции землю получили и ковырялись бы на ней, как могли и умели. Известно, что крестьянину — лишь бы какой ни на есть, но обязательно чтобы собственный клочок, и он не поднимет от него носа, будет копошиться от темна до темна...

Но можно ли было это позволить? В свете новых устремлений и новых решений? Согласно учению марксизма-ленинизма, которое так бурно овладело массами, это было бы неправильно. А что касается низового, районного руководства, так для него как раз главным и было определить, что правильно, а что неправильно. Именно согласно науке марксизма-ленинизма. Счастье страны и партии, что во главе ее стал вождь Сталин, который, возможно, единственный мог это определить и осуществить практическое выполнение марксистских положений. Все то, что делалось накануне войны, как это всенародно признано, было единственно возможным и правильным. Так в чем же здесь можно сомневаться?

Всю свою жизнь Демидович стремился к ясности и прямоте, не любил всяких сложностей и всегда гнал от себя сомнения, которые, знал, как трясины, засасывали в себя человека. Стоило только пойматься на крючок фактов, усомниться в малом, сделать хоть один шаг в болото. Он знал также, что колебаться ему нельзя, партийный руководитель должен быть человеком железных убеждений, во всем доверять руководству, которое уж несомненно умнее всех, кто ниже, и все как следует обсуждено, прежде чем появиться перед страной в форме постановления или резолюции. Уж товарищ Сталин их всесторонне обдумал. А товарищ Сталин никогда не ошибается, это было известно каждому школьнику.

Так думал Демидович, продвигаясь темной дорогой из Замошья, и на Тимковичском перекрестке, немного поколебавшись, свернул к Белавичам. Там у него не было знакомых коллег-учителей, но где-то здесь жил колхозник-пчеловод, которого он подвозил года три назад по пути из Полоцка. Демидович тогда возвращался с совещания, ездил на райкомовской линейке с видным донским жеребцом в оглоблях. Пасечник с редким для здешних мест именем Порфир оказался мягким, рассудительным человеком, повествовал о нравах своих пчел, скупно похвалился сыном, который у него был командиром-летчиком и недавно приезжал на побывку с женой и ребенком, по секрету сообщил, что сын побывал в Испании и имеет орден за участие в воздушных боях. Припомнив теперь этого Порфира, Демидович решил заглянуть в Белавичи, которые были почти по дороге и недалеко, в каких-нибудь десяти километрах от Замошья.

В Белавичах уже гасли редкие огни в окнах, когда он поравнялся с первыми хатами. Где жил тот Порфир — Демидович, конечно ж, не знал и ступал по темной улице, приглядываясь ко дворам, авось, встретится кто-нибудь, тогда спросить. В одной хате хлопнула дверь, и он позвал. Молодая женщина, сперва чуток напугавшись, показала ему вкось через улицу на темную хату под кленом, и вскоре Демидович шарил скобу на незакрытой двери Порфира.

Тот был в хате один, топил на ночь грубку. Демидович искренне обрадовался, поздоровался и сказал, что, видно, дядька его не помнит, не узнал? Но тот спокойно так говорит:

“Как не узнать — узнал. Вы ж товарищ Демидович из райкома, кто ж вас не знает здесь?”

Демидович подумал, что тем лучше для него, и напомнил об их встрече на Полоцкой дороге, и как они славно поговорили тогда о жизни. Все ж он хотел, не признаваясь сам себе, как-то задобрить этого человека, услышать его сочувствие и получить помощь.

Но Порфир не сильно спешил сочувствовать, разговор он будто бы поддерживал, но как-то неохотно, только часто вздыхал, поглядывая на огонь в грубке.

Демидович скупно, но убедительно, как ему казалось, описал положение на фронтах, в каком состоянии очутилась страна в результате этого внезапного нападения Гитлера, и как теперь трудно всем, и особенно тем, кто очутился на временно занятых фашистами территориях. О себе он еще не сказал и слова, но Порфир, когда он чуть умолк, неожиданно заметил, из-под лохматых бровей бросив взглядом на гостя:

“Нынче вам трудно, это конечно. Но где же, человеке, вы были тогда, когда всем трудно было?”

“Это когда?” — не понял Демидович.

“А тогда. Когда стонали все, слезы лили. Голодали и с голоду пухли, как в тридцать третьем”.

Ах, вот он о чем, с неудовольствием подумал Демидович, уж не за немецкую ли власть он? За оккупантов?.. Все ж теперь Демидович не хотел обострять разговор и довольно неопределенно ответил:

“Было, конечно, и тогда трудное. Индустриализацию проводили, напрягали все ресурсы. Нужно было”.

“Может, и нужно, — согласился Порфир. — Но зачем же было над народом издеваться? Над своими глумления творить?”

“Ну, это ты брось, дядька, какие глумления? Классовая борьба была, это правда. А глумиться над своими никто не хотел”.

“А то что, дав землю, назад отобрали — не глумление? Что за труд из колхоза ничего не давали — не глумление? И что обирали крестьян: и мясо, и молоко, и яйца, и шерсть? И шкуры со свиней? И лен, и бульбу? И еще деньги: налог, страховка, самообложение... А заем? Я, думаешь, почему три колоды пчел завел? Что чересчур мед люблю?.. За восемь лет я его ложки не попробовал. Чтоб оплатить все, купить и сдать — вон для чего. Притом, что в колхозе каждый день работал, в прошлом году триста семьдесят процентов выгнал. А что получил на них — полтора пуда костры. Ну как жить было?..”

Такого Демидович здесь не ожидал, этот оказался просто затаенной контрой. Мало, вишь ты, ему костры досталось? Будто другим доставалось больше! Или другие меньше платили-сдавали государству. Однако, гляди ты, сколько накопил обиды.

“Напрасно вы так, Порфир. Я считал вас сознательным колхозником, а вы?” — упрекнул Демидович.

“А я и есть сознательный! — поднял от грубки покрасневшее, обросшее седой щетиной лицо хозяин хаты. — Я самый сознательный в деревне. Всё выполнял. Жилы из себя тянул, а выполнял. Столько здесь мало кто стерпел, как я. Не хотел быть несознательным, должным государству, чтоб упрекали начальники”.

“Оно и понятно. У тебя ж, кажется, сын командир? Летчик?”

Порфир немного приумолк, как будто вспоминая что-то невеселое, и Демидович подумал, что о сыне обмолвился, видно, кстати. Но Порфир неожиданно сказал:

“В том-то и дело, что был сын командир, летчик. Да сплыл. Посадили летчика. Три года ни письма, ни привета. Может, и живого нет уже...”

Ах, вон оно что...

“Да-а”, — в раздумье промолвил Демидович, со злостью понимая, что и здесь обманулся. И тут не то! Возможно, этот Порфир переживает за сына, потому и такой ненастроенный. А он-то думал: разумный дядька, с ним можно будет поладить. А на кой черт такие разумные, что с них толку? Только молчат до поры, подлаживаются. Но вот же развязали языки, заговорили про то, о чем молчали годами.

Нет, здесь он не останется, у такого он просить приюта не будет. Такой его не спрячет,

гляди, завтра же выдаст полиции. Может, уже и сам в полиции, или там сын, зять. Такие нам сегодня — враги, с необузданной злостью думал Демидович.

Немного погревшись в натопленной, да неласковой Порфировой хате, он сухо попрощался и пошел снова в ночь. Долго тащился гравийкой, набил ноги, хотелось спать, а приткнуться было негде. Опять же посыпался дождь, от которого не очень защищал его рыжий потертый плащик, и он все думал, куда б завернуть, где спрятаться от непогоды. Он и так несколько дней чувствовал себя довольно скверно, начало допекать нездоровье, иногда лихорадило, той ночью под дождем он основательно-таки простудился.

Около Бываловских хуторов свернул с гравийки и, не разбирая дороги, добрел до какой-то усадьбы. Стучать в окна уже не решился, увидел поодаль от хаты черную ночью пуню и через незакрытые ворота влез в нее. В углу как раз лежало немного прошлогодней, поточенной мышами соломы, он зашился в нее подле стены и, дрожа телом, задремал до утра.

Проснулся, однако, поздновато, уже слышались голоса возле хаты, но он не стал объявляться. Потихоньку выбрался из пуни и, проделав солидный крюк, обошел хутор, вышел на какую-то полевою дорожку и энергично зашагал по ней, чтобы согреться. После ночи он вообще чувствовал себя скверно, болело горло, сильно ломило кости. Тогда же он начал кашлять и испугался от мысли: не обострился ли туберкулез, залеченный немного за последние годы? Если в этой ситуации откроется туберкулез, ему кранты. А и в самом деле было похоже на это. Особенно доставал кашель.

В тот день он на беду еще крепко промочил ноги в гамашах, трава после дождя везде была мокрая, и как-то после обеда понял, что дальше идти нет сил. Остаток дня провалялся в разломанной повети вблизи села Береги под Тумиловской пушей. Он все думал, как спасти себя, куда податься? Удивительно, но податься вообще было некуда, нигде не было никакой определенности, никакой надежды. То чересчур трусливые, без меры осторожные, то неуверенные, а то и просто враждебные. И что стало с людьми? Неужто в беде своя рубашка ближе к телу?

И тогда он вспомнил о Серафимке. Знал ее издавна и даже как-то летом заезжал в хату, еще когда дружил с Николаем. Ехали с какого-то собрания, заглянули. Затем несколько раз встречал в местечке, был на квартире. Темная малограмотная баба, обычная сельская тетка. Но теперь ему, возможно, такая и нужна. Эта не будет философствовать, сводить счеты, попрекать. И поможет. Если только не затаила обиды за брата.

Иного у него не оставалось, а Любаши были где-то за лесом, и предвечерьем он пустился в дорогу — через лес и поле к старым торфоразработкам, где на взгорке приютились эти Любаши.

7. Пилипенки

Проснувшись на рассвете, Демидович сразу понял, что заболел основательно. Тело корежило от изнеможения, голова была тяжелая, что чугуном, дыхание заложило — туберкулез или нет, а воспаление безусловное, подумал он. Рядом на припечке стояла его кружка с травяным отваром, он немного отпил из нее и снова лег. В хате было тихо, Серафимка, видно, куда-то вышла, и он потихоньку позвал раз и второй... Нет, нигде никого. Все ж, кажется, нужно как-то подниматься, что-то делать. Или хотя бы о чем-нибудь договориться — вчера он даже не рассказал ей о своих незадачах, попросился переночевать, и все. А что дальше?

Дальше — нужно было подумать, посоветоваться, обсудить с этой женщиной свою горькую судьбу и попросить помощи. Авось поможет.

Под потолком чуть прояснилось, видать, на дворе уже рассвело, и он, с натугой преодолевая слабость, поднялся, сел на нары. Да, и вправду, видно, он сегодня не ходок, нынче он мог только лежать. Снова налетел кашель, бил и бил, он попробовал откашляться, да напрасно. В груди играли гармошки, темнело в глазах. Как бы не потерять сознание.

Только он начал надевать мокрые гамаши, как где-то совсем рядом, показалось, за углом, грохнул винтовочный выстрел и тут же издали резко визгнула собака. Демидович вздрогнул и только надел левую гамашу, как в сенях хлопнула дверь, и он подумал, что это Серафимка. Но несколько шагов там, в сенях, дали понять, что не Серафимка — ступали тяжело, твердо, рванулась дверь.

Он с одной гамашей в руках выглянул из запечья, и в глазах его потемнело. Через порог переступил и остановился рослый белобрысый детина в расстегнутой военной телогрейке, с винтовкой в руках. Из-за его плеча выглядывал второй — с мелковатым чернявым лицом, в военной, с черным околышем, фуражке на взлохмаченной голове. Демидович догадался, что, видно, это местные полицейские, и почувствовал, как нехорошо заколотилось его сердце.

— О, и хозяин завелся, — вместо приветствия бодро сказал первый. — Или, может, гость? День добрый!

— Добрый... день, — неуверенно ответил Демидович, дрожащими руками сился насунуть на ногу сырую грязноватую гамашу. В голове закружилось, и, чтобы не упасть, он опустил на скамью.

— Местный или приезжий будешь? — с деланным спокойствием спросил передний. Они оба уже вошли в тесную хату и встали у порога.

— Да вот, как видите, случаем, — неуверенно выдавил из себя Демидович, с натугой натягивая гамашу. — К тетке...

— К тетке?

— Ага, к Серафиме, — решил до конца врать Демидович. Было видно, что это местные, иначе ответить он не мог.

— Значит, Серафима — тетка? — допытывался полицейский. — И где же она, эта тетка?

Тяжело тупая по доскам пола большими грязными сапогами, он подошел к грубке, заглянул в запечье.

— Да куда-то вышла, — тихо сказал Демидович.

— Так-так. С какой целью — к тетке? — вдруг спросил полицейский, остановившись напротив него. — Надолго?

— Да так, навестить, — сказал Демидович.

— Командир? Окруженец?

Они уже оба придирчиво осматривали его истощенную, в пиджаке, фигуру. Затем тот, чернявый, тихо заметил:

— Не похоже. Гражданский, видать.

— Да? Гражданский? — вперив в него взгляд, добивался первый. — Откуда? Из района? Из области?

— Да что вы, хлопцы! — сменил сдержанный тон Демидович. — Нельзя, что ль, родственницу навестить? Из Полоцка я.

— Из Полоцка?

— Из Полоцка.

— Смотрю, однако, будто мне твоя физия знакома, — насторожился первый. — Как фамилия?

— А зачем?... Ну, Максимов.

— Максимов... Нет, все-таки где-то я тебя видел. Вот не припомню, — подал его взглядом полицейский.

Второй тем временем обошел хату, поглядел за стол, в темные углы, за занавеску в запечье.

— В милиции работал?

— Да что вы, хлопцы?

— Но где ж Серафимка? — не утерпел первый и сквозь уцелевшее стекло глянул в окно, затыканное тряпьем.

— Может, корову погнала, — попробовал Демидович отвлечь их внимание на иное.

— Во, у нее уже и корова появилась? — удивился полицейский. — А то казанской сиротой

прикидывалась...

— Появилась, ага.

— Тогда поглядим на выгоне, — решил первый. — Ну, так мы не прощаемся, племянничек. Еще увидимся, — заверил полицай уже от двери.

Похоже, они имели иную цель своего прихода и наткнулись на него здесь случайно. Значит, нужно было смываться. Только куда?

Оставшись один, он снова почувствовал себя неважно, едва влез в непросохший, сыроватый со вчерашнего плащ, снова сел на скамью. И сидел так, кашляя и слушая, как от натуги звенит в голове. Он предполагал, что те сейчас придут с Серафимкой и возьмут его. Или расстреляют на месте. Предвидь он такое, договорился бы вчера с хозяйкой, что он ее племянник или брат, а то...

К счастью, вскоре во дворе затопали мягкие шажки, и в сени вошла Серафимка. Демидович поднялся навстречу:

— Полицай были. Тебя ищут.

В глазах Серафимки мелькнула тень страха, и она изменилась в лице.

— Ай, боженька!..

— Спрячь меня куда-нибудь, — заговорил Демидович. — Они снова придут.

— Ай, боженька! — вновь запричитала Серафимка и вдруг подхватила от порога. — Скоренько, скоренько идите сюда... Я сейчас осмотрюсь.

Она выскочила во двор, пооглядывалась и снова заскочила в сени.

— Идите сюда... За мною, вот огородами до тех кустиков...

Он не спрашивал, куда, теперь ему оставалось только полагаться на Серафимку, в ней было спасение. Шатаясь от изнеможения, он поплелся за нею по тропинке через огород до кустарника, там уже было какое-никакое укрытие, и она подождала его, взяла за руку.

— Вон туда, в лесок, там... Я знаю, куда.

Полицай, видно, искали ее на выгоне на другом конце сожженного села, а она в это время привела его в редкий мелкий лесок с молодым березняком, здесь уже можно было заслониться от деревни, и она подождала чуток, пока он откашляется.

— Что, плохо вам?

— Плохо, Серафима, — сказал он, тяжело и хрипло дыша. — Я сказал, что ты моя тетка.

— Во как! — только и сказала она, с неприятностью подумав: какая я тебе тетка? Может, года на два старше, могла быть женою, сестрой. А то — тетка.

Она уже знала, где спрячет его — иного убежища у нее не было, а в блиндаже втроем им, может, будет лучше. Сегодня утречком, когда она принесла еду командиру и напоролась на того немца, так едва не сомлела с перепугу. Хорошо, что командир отозвался, видно, учуял ее страх и успокоил. Сказал, что это дезертир, не нужно бояться. Тогда она осмелела немного, но все равно боялась, пока, сидя в блиндаже, кормила слепого. К ее радости, сегодня командир чувствовал себя лучше и немного съел ее харчей, остальное до крошки доел, видно, порядочно изголодавшийся немец. Следовало подумать, чем накормить эти две души завтра, и с такими заботами она прибежала домой. А тут такая передрыга — полиция. Что ж теперь ей делать, думала Серафимка. Опять же, этот Демидович, похоже, заболел не на шутку, он совсем не мог бежать и, шатаясь, плелся за нею малохоженой тропкой в зарослях, порой останавливаясь совсем, кашлял громко и надрывно, по-собачьи.

Немного успокоившись от пережитого, она начала думать, что теперь, днем, видать, не годится вести через поле чужого человека. Ну а как покинуть больного в лесу? Еще совсем сляжет, что тогда с ним делать? Разве что подойти к блиндажу не полем, а сбоку, от луга, той траншеей? Там все же более укромно. Может, так их не заметят издали.

Не очень скоро и проворно они вышли из леска по-над огромной ширью торфяника, и Серафима, идя впереди, все оглядывалась на Демидовича, придерживала свой шаг, чтобы не сильно отрываться от человека. Так они одолели довольно длинный склон и подошли к концу траншеи. Здесь, впрочем, в мелкой, по пояс, не более, траншее не так уж и укромно, и

грязь на дне, но Серафимка спрыгнула в ее щель. Туда же, поколеблясь, влез и Демидович.

Пригибаясь, они долго пробирались зигзагами разбитых ходов, которые понемногу делались глубже, бруствер с обеих сторон становился выше, и высокому Демидовичу уже можно было не горбиться. Но, видно, ему не понравилось что-то, и он, уже вторично останавливаясь, спрашивал у Серафимы:

— Куда это мы?

— Идите, идите, — кротко кидала она, оглядываясь. — Там двое, но ничего. Блиндаж просторный.

— Блиндаж?..

— Да, блиндаж.

Демидович не знал, радоваться или злиться — блиндаж и какие-то двое в нем — ладно, если свои. А если неизвестно какие? Как тогда ему быть?

Возле последнего поворота они остановились, и Серафима тихо крикнула:

— Это я, Серафима...

— Ты, тетка? — глухо донеслось из-под земли, и Серафимка первой подошла к наполовину засыпанному входу в блиндаж.

Демидович нерешительно остановился, и только когда она исчезла там, сунулся вслед.

— Вот привела еще, — говорила кому-то Серафимка. — Не бойтесь, свой. В райкоме работал.

Демидович стоял, сильно пригнув голову, которая упиралась в низкий потолок, и во все глаза уставился в полумраке на военного с забинтованным лицом, что лежал в углу. Тот положил на полу шинели свой пистолет и откинулся на спину.

— Фамилия?

— Демидович, — сказал гость.

Здесь уже, наверное, можно было не таиться, перед ним лежал, очевидно, раненый капитан войск связи. Немного успокоившись, Демидович глянул в сторону, за Серафимку, и судорожно сжался — с другого угла на него внимательно и испытующе смотрел какой-то детина в немецком мундире с неопределенным, но сразу видно было, чужим выражением на белокуром лице. Уловив удивление Демидовича, Серафимка поспешила успокоить:

— Ладно, ладно... Как-нибудь...

“Ничего себе, как-нибудь”, — подумал Демидович, который был уже не против дать отсюда задний ход, если б только мог. Но уже, видать, ему отсюда не выйти, он уже в западне — такие мысли прежде всего появились в его голове. Капитан между тем шевельнул упрямым подбородком, показывая куда-то в сторону.

— Садись, Демидович, рассказывай. Где наши? Это немец-дезертир, не обращай внимания. Закурить имеешь?

— Не курю я... — уныло выдавил из себя Демидович.

— Не куришь? Жаль... А то у немца эти сигареты — что трава. Серафима! — кликнул капитан. — Ты не сможешь достать курева? Ну, махры там или самосада?

— Табаку? Да где ж?.. Если б какой хоть мужчина где...

— А ты постарайся. Без курева тут погибель... Так где фронт, не слышать?

— А кто ж его знает. Но не близко.

Демидович поочередно переводил свой встревоженный взгляд то на капитана, то на немца в углу. Потом опустился под стеной у входа, закашлялся. Капитан вслушался в его кашель и, когда тот немного утих, спросил:

— Что, простудился?

— Простудился, холера на него...

— Да, надо было в избе полежать.

— Полежал ночь. Да утром полицаи выкурили.

— Полицаи? Уже и полицаи организовались? Вот сволочи! И откуда взялись? Свои? Пришлые?

— А черт их знает, — сказал Демидович, украдкой поглядывая на немца.

— Пилипенки, Пилипенки это, — поспешно вставила Серафимка. — Больше никому. Они — паскудные люди.

Хлебников немного повернул голову в ее сторону.

— Ты еще здесь, Серафима? Так позаботишься о куреве, а?

— Ой, где ж, и не знаю. Ну, поищу... Так я, это, пойду. Ужин же вам надо.

Она шагнула к выходу, и капитан еще раз напомнил:

— Главное — курить.

Они остались втроем, в блиндаже стало немного свободнее. В груди у Демидовича снова захрипело, он попробовал откашляться, да где там, видно, забило все легкие. Кашляя, украдкой поглядывал на немца, который теперь внимательно разглядывал его и, только он немного утих, спросил:

— Пневмония?

— Что? — всполошился Демидович. — Может быть. Если не хуже... — сказал он и тут же пожалел: нашел кому жаловаться на свою болезнь.

Немец сидел под стеной, расставив колени, в перепачканных сапогах на ногах. На его широком ремне с белой блестящей пряжкой громоздилась большая черная кобура, наверное, с пистолетом, подумал Демидович. Черт знает, что творится, в какую ловушку его завела Серафима. А этот капитан? Неужто он не понимает всего ужаса положения? Нужно было бы спросить у него, поговорить, но Демидович все косился на немца — а вдруг тот понимает по-русски?

Вскоре оно и получилось так, как он больше всего боялся: немец, когда кашель у него чутко унялся, выразительно обратился к нему:

— Пневмония немножко помогаль... Их... Я имель стрептоцид.

Он вытянул из угла какую-то сумку, расстегнул ее, покопался там и достал бумажку, из которой вылушил белую таблетку.

— Браль!.. Унд васэр, один таблет.

Почти со страхом в душе Демидович сидел напротив, не зная, как быть: взять или отказаться? И капитан, как будто почувствовал его нерешительность, сказал:

— Возьми! Не обманет. Мне вон глаза обработал, сразу гной течь перестал.

Демидович протянул руку, взял таблетку, внимательно рассмотрел ее на ладони. Проглотить или нет? А вдруг отравя? И он сжал ее в кулаке, незаметно сунув в карман плаща.

— Да, попали, как мыши в кувшин, — грубовато сказал капитан, вздохнув. — Чего дождемся?

Демидович тоже вздохнул и медленно закрыл глаза. Хотелось присесть наземь, скорчиться, лечь — предаться покою. Но как было предаваться покою в такой компании, и он сидел изнеможенно у входа, наблюдая исподлобья за немцем. Тот долго копался в своей сумке, перебирал медицинское снаряжение — свитки бинтов, бутылочки, пакеты, ножницы. Лицо его было озабочено своим занятием, на них он почти не смотрел. И тогда Демидович спросил:

— Видимо, вы офицер?

— Вас? — не понял немец.

Но за него ответил капитан:

— Не офицер. Погоны у него какие? Без знаков? А на рукаве что у него?

— На рукаве нашивка. Какой-то угольник, — сказал Демидович.

— Вот, угольник. Значит, ефрейтор.

— Я, я, — закивал головой немец. — Обер-ефрейтор Хольц.

— Рабочий или крестьянин будете? — вновь поинтересовался Демидович.

— Арбайт? Нихтс арбайт. Штудэнт.

— А, студент. А отец кто? Отец?

— Отец у него профессор, — сказал капитан. — Мы вчера познакомились. Ничего, хороший немец, надежный.

Демидович смолчал: так уж и надежный? Откуда это известно капитану? Разве сам сказал? Но он тебе наговорит. Перевязал голову? А если он шпион? Заслан сюда специально?

— Только вот сигарет прихватил маловато, — посетовал капитан. — Наверно, думал в плену разжиться. А у нас самих в кармане — вошь на аркане.

“Ну, курево, пожалуй, не самое теперь важное, — думал Демидович. — Без табака еще никто не помер”. Он вот не ел со вчерашнего, хотя в сумке оставалось с полбуханки хлеба, немного сала. Но... неловко теперь это выкладывать, а главное — делиться с этим немцем. Лучше он поголодает, а там видно будет.

8. Хлебников

На четвертый или пятый день после ранения Хлебников почувствовал себя лучше — видно, отлежался, даже выспался, а главное — перестали остро болеть глаза и голова, и тогда появилась надежда, что, может быть, еще выживет. Не сразу он свыкся с мыслью, что уже не вояка, что его военное прошлое осталось позади, и если и выживет, его ждет нечто совсем иное, почти неизвестное ему. Прежде всего — слепота. Видеть ему уже, вероятно, не удастся никогда, придется век жить в ночи. Конечно, если только повезет выжить...

Эта женщина Серафима спасла его от голода, отпоила травами. Немец, спасибо ему, помог медициной — вчера который раз промыл чем-то зловонным глаза, было больно и непривычно, но затем стало легче. Разумеется, все это было необычно, боязно и даже дико; и то, что он, начальник связи стрелкового полка капитан Хлебников, ныне беспомощный слепец, и о нем заботится сельская женщина и лечит немецкий обер-ефрейтор, — не укладывалось в привычную схему его представлений, в такое даже трудно было поверить. Но черт с ним, со всем этим, думал капитан. Все ж он был живой и даже выздоравливал будто — а это главное. Что еще может быть главнее на войне? То, что он теперь очутился в положении неслыханном, исключительном, должно быть, освобождало его от многих прежних обязанностей и давало, вместе с тем, какие-то новые и непривычные возможности. Первым делом он отогнал от себя различные страхи и сомнения — он заставил себя не бояться ничего. Будь что будет. Разве ему уже было что терять?

И все ж его беспокоил немец, который так неожиданно вторгся в его судьбу и даже становился нужным. Тогда, вначале, должно быть, Хлебников пристрелил бы его, если б хоть немного видел — не потому что боялся, а так, для надежности. В тот день, когда он появился в блиндаже и дал закурить, Хлебников все намеревался сделать это как-нибудь неожиданно и верно. Но этот немец, будто чувствуя его намерения, словно ртуть, вертелся по блиндажу, шелестя то в углу напротив, то возле стены в ногах, то около входа. Так в него не угодишь, а вот он определенно не промахнется. И Хлебников пока отложил свой замысел, а затем, когда тот взялся лечить его глаза, и вовсе оставил думать об этом. Черт с ним, пусть живет. Тем более, что он сам был целиком во власти этого немца, который сам мог застрелить его каждую минуту. Но раз не стрелял, значит, не хотел этого. Возможно, у него были для этого свои соображения?

Может, наши еще вскорости вернутся, отобьют этот район у немцев, и тогда он будет спасен. А пока что приходится искать помощи у местных. Тут уж все надежды на Серафиму.

Немного странноватая эта женщина, думал капитан, впряглась в эти заботы о слепом, затем о немце, да еще приволокла и этого райкомовца — как она теперь справится с ними тремя? Прокормить — и то, известно, нужен приличный запас харчей, а у нее дома ни коровы, ни курицы. Да и сожженная деревня... А тут еще появились полицаи. Черт бы их побрал, этих Пилипенков! Как бы не от них веяло наибольшей угрозой Серафиме. Могут выследить женщину, тогда всем гибель. А она, кажется, такая простодушная и сговорчивая...

Неизвестно, была ли это ночь, или немец с Демидовичем уснули — Хлебников слышал лишь их дыхание вблизи. Демидович все хрипел, иногда кашлял и даже бормотал что-то во сне, а капитан, чутко сориентировав на слух свое внимание, слушал и думал.

Он был кадровым военным, давно служил в армии, кроме этой службы мало что понимал в жизни, одних военных забот было ему под завязку. Служба отнимала все время, с утра до ночи, выходные в придачу, зима проходила для него за глухим гарнизонным забором, лето с ранней весны — в лагерях среди сопок и дикой природы Дальнего Востока. Женщин он видел лишь в поселке да на ближней станции, это были преимущественно жены командного и начсостава их гарнизона; из незамужних иногда попадались на глаза сестры в госпитале да официантки в командирской столовой — считанные единицы на многие десятки командиров, женатых и холостых. Выбор был невелик, молодые женились на первой, кто быстрее других встретился в жизни, и он тоже женился на официантке Марусе, что так мило улыбалась, раздавая им тарелки с большого подноса, который она ловко носила между рядами столов. Питались не очень чтобы сытно, молодой аппетит был неутолим, и Маруся его исподволь подкармливала тем, что было на кухне: то положит на тарелку лучший кусок мяса, то лишнюю ложку масла в кашу. Он был благодарен за такое непривычное для него женское внимание, которого мало видел в детстве от строгой и суховатой мачехи. Маруся ему нравилась. Уж такой казалась милой и ласковой и ничего себе внешне, но счастье с ней у лейтенанта Хлебникова длилось с июня до октября, пока они с лагерных палаток не перебрались в казармы, и оказалось, что жить им в гарнизоне негде — квартир для молодых не было, и они слонялись кто где — в старшинских каптерках, необустроенных хозяйственных боковушках. Вот тогда Маруся и сменила свой милый характер на плаксиво-визгливый, ее любовь обернулась в поток претензий к нему, который ее так обманул. Она уже не работала в столовой, а весь день сидела в своем углу на чердаке казармы и тоскливо ждала его, чтобы тотчас, как он придет, настывший в поле, голодный и издерганный, взяться его пилить за их неустроенность, за его невезение с жильем, за то, что он такой неудачник, получает шестьсот рублей в месяц и пятый год ходит в лейтенантах, тогда как его друзья стали капитанами. Долго он пробовал все это превращать в шутку, обещал дослужиться до генерала, тем более что времени для этого, мол, у него еще уйма, рассказывал о трудностях с жильем и то, что не одни они очутились в таких условиях. Даже старшие командиры и те нередко делили одну квартиру на две семьи, а деньги, так это дело такое, когда все зависит от того, как к ним относиться. Те же его шестьсот рублей взводного могут быть мелкими деньгами для буржуа и весьма значительными для уборщицы. Но где там! Марусино обидчивое недовольство постепенно превратилось в устойчивую враждебность, жена его возненавидела. Как натура крайне завистливая, она находила всех других мужей, мужей ее соседок, несравненно лучшими, чем свой, хоть он никогда не сказал ей грубого слова, старался избегать ссор и споров. Он больше молчал. Но, видно, это его молчание и было самым оскорбительным и невыносимым для нее, и, кое-как перебившись зиму в таежном гарнизоне, она весной уехала к родственникам в Барнаул... Два года он был ни холостым, ни женатым, жил в командирской гостинице с холостяками, посылал ей по почте пятьсот рублей в месяц, но писем не писал. И она ему не писала, пока он не получил то, где она просила выслать развод. Согласие на развод он отправил в тот же день и решил, что никогда больше в жизни не приблизится ни к одной женщине.

А эта вот Серафима, которую он ни разу не видел и уже не увидит никогда, чужая и незнакомая, ухаживает за ним и кормит, спасает от гибели — по своей доброй воле, без всякого расчета и даже без малейшей надежды на что-либо. Вчера, когда принесла картошечку и он начал неумело есть, так душевно засокрушалась, что, кажется, даже заплакала. Что она за женщина и какого хотя бы возраста? Голос мягкий, очень деликатный и благозвучный женский голос, но какая она с лица, об этом Хлебников не мог даже догадываться. Хоть бы спросить, сколько ей лет? Конечно, женщины ему теперь без надобности, что ему и Серафима? Но все ж таки... Он ожидал услышать ее голос — знал, тогда начинается день, она приносит харч, поддерживает в нем жизнь и тоненькой ниточкой связывает его с миром и бездной событий, из которых выпал он. Все эти дни он жестоко страдал без курева, немец принес десяток слабых, что трава, сигарет, которые он скурил за несколько часов и жаждал курить еще. А вдруг и тут Серафима ему поможет? Не может

быть, чтобы у деревенских мужиков не нашлось хоть заваливающего самосада! Разве что в разрушенной деревне не найдется мужиков...

Проклятая война, как все нелепо обернулось на ней! Даже для него, кадрового военного, для которого война — профессия, и он за годы своей службы упрямо и прилежно постигал ее тайны, сложную технологию борьбы с врагом. И может, на войне он впервые задал себе сакраментальный вопрос: а подготовили ли его хотя бы в главном к тому, что так понадобилось на фронте? Всю свою службу, сколько помнил Хлебников, пехоту учили обороне и наиболее — наступлению, зимой и летом, малыми подразделениями и крупными соединениями; на тактических и штабных учениях отрабатывали десятки вариантов этих сложных тем. Никто из военных не мог даже подумать о проблемах отступления — такого вида боевой деятельности не предусматривали уставы Красной армии, которая не собиралась отступить никогда и планировала разбить врага малой кровью и могучим ударом. Наиболее вероятным врагом имелась в виду империалистическая Япония, там, вблизи нее, на Дальнем Востоке происходили частые стычки и провокации, на границах с нею, в Маньчжурии и Монголии, стояли самые боеспособные дальневосточные дивизии Красной армии, командиры всех рангов и степеней неустанно изучали организацию и тактику японской императорской армии. Немцы перед войной были друзьями, их командиры учились в наших академиях, дипломаты и военные регулярно присутствовали на больших маневрах БВО и КВО. На западе был пакт, мир и полный ажур.

А на самом деле все оказалось наоборот. Японцы мирно стоят, где стояли, немцы же под прикрытием пакта ворвались в страну и оттяпали весь ее запад. И нет им удержу, прут на Москву. И кто виноват в этом?

Их полк и дивизия отступали от Барановичей, дважды выходили из окружения, пережили танковый разгром на Березине, потеряли больше половины личного состава. Нестихающей болью ныла душа по погибшим друзьям, страдала от бесконечных неудач и поражений, а разум ночью, в тихие минуты покоя, все перебирал, ворошил тысячи разных причин и фактов, чтобы понять, в чем дело, кто виноват?

Как-то они ночевали на хуторе под Минском. Была темная ночь, приближался дождь, дружно наседали комары, и, чтобы спастись от них, Хлебников пошел спать на хутор в хату. Там уже были полковой начарт Бурш, начхим Емельяненко, кое-кто из бойцов. Не зажигая света, они легли на скамейках, но не спали, говорили о том, о сем, а наиболее — о наших неудачах. И тогда Бурш сказал, что в такой ситуации, когда противник навязывает нам свою тактику, нужно эту тактику перенять у него, получается, что-то одолжить у немцев. Это Бурш в наибольшей мере относил к действиям танковых соединений, а также немецкой пехоты, их автоматчиков, которые действовали совсем иначе, чем это определялось в наших уставах. Не в пример нашим боевым порядкам, немцы наступали одной цепью, командиры у них были сзади, откуда руководили боем, никто у них не бежал перед цепью с пистолетом в руках и с криком “Ура!”.

Никто тогда Буршу не возразил. Хлебников не сомневался: начарт говорит правду, что тут можно возразить? Правда, наступать им еще не приходилось, они все время отступали, но контратак было уже немало, и каждый раз командиры и комиссары должны были вести бойцов за собой в штыковую, подбадривая их криками “Ура!” и “За Сталина, за Родину!”. Не удивительно, что средних командиров у них не хватало, в батальонах почти всех повыбило, ротами командовали старшины и сержанты, а батальонами зачастую недавние взводные, лейтенанты. Безумно не хватало боеприпасов и средств связи, которые тоже были далеко не лучшего качества. Хлебников, когда выпадало, старался разжиться трофейными — прекрасными телефонными аппаратами в эбонитовых футлярах, а также немецким красным кабелем, который был значительно лучше нашего эзекеритового.

Похоже, правду тогда говорил Бурш, но назавтра, когда они были уже на марше, по колонне прокатился слух, что Бурша арестовали особотдельцы за пронемецкую агитацию. На привале под вечер к закрытой машине особого отдела позвали и Хлебникова, и он там писал объяснительную, о чем в тот вечер говорил на хуторе Бурш, и почему он, капитан

Хлебников, не дал ему отповеди. Хлебников писал, ругаясь в душе и проклиная все на свете, но думал ли он сам иначе, чем начальник артиллерии? А вот, вопреки своему желанию, вынужден был капать на честного и разумного командира, которому тот разговор, судя по всему, будет стоить жизни.

А если теперь вот напишут на него самого? Хотя бы за эту компанию с немецким ефрейтором? Видно, так же не поздоровится, невзирая на то, что ранен.

“Ну и черт с ним!” — ругался мысленно Хлебников. Уж, видно, теперь ему не страшно ничего. Теперь он не командир и даже не раненый. Теперь он — слепец, калека, нищий. А нищему-калеке можно все. Все, что допускает его совесть. Плевать ему на других и их зрячие заботы. Они — не он. Ибо они — зрячие.

Ему бы только вот закурить...

Но в блиндаже спали, а Серафима еще не приходила, значит, была ночь, день еще не наступил. Но, наверное, наступит. Что только он принесет им в этот блиндаж?

От долгого лежания на твердых земляных комьях давно уже ныли бедра, он крутился на шинели, пробуя лечь и так, и этак, но было по-прежнему жестко и неудобно. Сон приходил урывками, как у птицы на дереве; Хлебников то коротко дремал, то опять возвращался к безрадостной своей реальности. Все же здесь, в блиндаже, он чувствовал себя старшим над двумя другими, хотя его никто не назначал, но по давнему военному обычаю он решал за всех и удивился б, если бы кто-нибудь его ослушался. Жаль, что оба его подчиненные были с явным браком: один — немец, который все ж слабо понимал по-русски, а второй — больной. Кого пошлешь, если понадобится? Сам он тоже не ходок. Оставалась только Серафима.

Вновь Серафима. Как ни мудри, весь мир для них, видать, сходится на этой сельской тетке.

9. Серафимка

Когда Серафимка с затаенным страхом прибежала в деревню, полицаев уже нигде не было — видать, куда-то смылись или, может, искали ее где-то в ином месте. Но теперь она их не боялась: Демидовича она немного пристроила, а что он к ней приходил, то что же: зашел и ушел. Откуда ей знать — куда? У него свои дела, у нее свои.

Забот, конечно, у нее прибавилось, как никогда раньше. До сих пор она приноровилась жить с малыми запросами, даже совсем без запросов: была краюха хлеба и бульбина — и ладно. А не было — тоже не плакала, как-то обходилась, не умерла же, вот дожила до сорока лет и, слава Богу, еще здоровая. А что одна — беда невелика. Это не то что у других — семьи, дети, каждый день нужно наготовить им еды, накормить, одеть. У нее ничего не было в хозяйстве, только двадцать соток огорода, где она весной под лопату старалась посадить бульбу, ну еще немного огурцов, луку, свеклы — тем и жила. В колхоз ходила ежедневно, куда посылал бригадир: летом на полевые работы — прополка, уборка, осенью — обмолот, и всю зиму — лен. В прошлом году выгнала аж пятьсот двадцать трудодней, ни одна баба в Любашах столько не выгоняла. Правда, пользы с того имела негусто: осенью при распределении дали зерна и гороха — принесла все на себе в торбе. И телегу не пришлось просить. Но ей хватало. В прежние годы держала корову, да корову хорошо держать летом, а чем ее прокормить зимой? Все ж корова — не человек, ей не скажешь, что сена нету, из колхоза не дали, а накосить Серафимка не могла, не те уже были руки. Продала корову, когда нанимала мужчин подправить хату — надо было менять подрубку, стало очень уж холодно в морозы, и она распрощалась со своей Цветонею. Было три курочки, исправно неслись, да, холера на нее, прошлым летом повадилась лиса — вестимо же, усадьба на отшибе, рядом кустарник — в три дня и передушила всех ее трех рябеньких. Осталась Серафимка совсем одна. Радость, что хата так-сяк уцелела, другим повезло меньше — ни имущества, ни харча, ни жилья. Куда теперь деваться с ребятами?

Нет, видать, она все ж везучая, думала Серафимка, недаром к ней идут люди; теперь

вот свалилось столько хлопот — нужно помогать. Ведь если она не поможет, так пропадут же. И тот слепой командир, и этот Демидович. Да еще немец — какой-то непонятный солдат, но командир говорит: хороший. Может, оно и правда, хороший, только вот где набраться им харчу? Сама она — сельская женщина, она перебьется и бульбочкой с огорода; а им же, знать, нужно еще и до бульбы. Первое — нужно хлеба. А у нее, как на беду — ни хлеба, ни зерна, ни муки. Малость ячменя, и все... А была бы и мука, как из нее спечь хлеб, когда нельзя натопить печку?

Дверь в сени снова была не закрыта, как и дверь в хату — значит, здесь побывали те; и Серафимка испугалась, что, может, побрали и остальное из ее продуктовых запасов. Да нет, сдается, ничего не взяли; все ее барахло на месте и даже тулуп на нарах, нужно будет его отнести в блиндаж. Ибо там, хоть и не холодно, и уютно, но больному Демидовичу он не будет лишней.

Миской она зачерпнула из короба ячменя, подумала, чуток отсыпала назад. Все ж ячмень надо беречь, закончится — что тогда кушать? Чем тогда кормить ее бедолаг?

То, что взяла, в фартушке разостлала на теплом с ночи припечке за грубкой — пусть немного подсохнет, будет легче толочь. Она им наварит крупяного супчика с бульбой, жаль, нечем забелить или зажарить, хоть плачь. Ну а хлеб? Где взять зерна на хлеб, она все время думала по дороге с поля и дома, но ничего придумать не могла. То же и с тем табаком, что просил командир. Где она найдет теперь табака?

Разве поглядеть в огородах? В первую очередь — у старого Кирилы. Уж такой был курильщик, часа не мог прожить без самокрутки, продымил всю хату, даже в сенях воняло табаком; он, должно, сеял. Правда, сам Кирила помер перед войной, но, если сеял, то, верно, что-нибудь выросло. Хата его сгорела, отсюда видна только куча угля на Кирилиной усадьбе с садиком, а огород, может, и сохранился.

Она выбежала из хаты и, боясь показаться на пустой грязной улице, чтобы не наткнуться на кого худого, повернула на задворки, обошла две большие воронки возле пруда и выбралась на огород Кирилы. Огород был большой и аккуратный, огороженный добрым забором, бульба наполовину выбрана, возле хаты зеленело несколько кустов свекловичника да лука с порыжелыми перьями, старый, совсем уж осенний огуречник. Но табака не было нигде, может, его уже убрали?

Боясь, как бояться разве покойников, Серафимка вошла во двор, вглядываясь в потухшее и, наверно, уже остывшее пепелище с черной печью посередине. Откуда-то из крапивы вылез оголодавший кот, начал жалобно мяукать, утупившись в нее рыжими голодными глазами. “Что я тебе дам?” — развела руками Серафимка.

В углу сгоревшей Кирилиной истопки из-под какого-то обгорелого друга, из-под концов стропил и досок выглядывал уголок уцелевшего ларя — он уцелел сбоку, может, и весь не сгорел. Увидев его, Серафимка осторожно, чтобы часом не обжечь босые ноги, ступила на край пепелища, ее ноги немного увязли в мягкой холодной золе, ступила второй раз. По какой-то жерди добралась до угла бывшей истопки, отвернула в сторону обгорелую доску, приваленную с конца пыльным друзом. В первом сусеке было пусто. Тогда она стала освобождать от друза другой сусек и, когда подняла крышку, аж вздрогнула от радости: в сусеке что-то было, похоже, зерно, сверху даже чуть обуглилось, но, видно, там можно было что-то наскрести.

Серафимка торопливо выбралась из пожарища на травянистое подворье, тем же путем быстренько побежала домой за какой-нибудь посудинкой. В своей радости думала: может, ее не осудят очень Кирилина невестка с малыши, видно, ушла к родне, может, там прокормятся, а она подберет то, что уцелело от войны, ей это нужно. За свою жизнь она не взяла крошки чужого, боялась даже дотронуться, когда где-нибудь валялось что-либо потерянное или оставленное без хозяина. А тут... А тут пускай Бог ее простит — те недогарки, может, как-то дадут возможность ей прокормить бедняг в траншее.

Вымаравшись по уши в золе, она все же немного нагребла зерна — почти пополам с обгорелым, но все ж это было житко, и в нем — наше житье, как когда-то говорила ее

покойница-мать. Теперь она уж как-нибудь сварганит пару буханок хлеба, не может быть, чтобы, имея зерно, не сработала хлеба. Конечно, прежде всего надо смолоть, а перед тем подсушить. Но сушить, может, и не нужно, подсохло на пожаре, а смолоть она попробует на соседском жернове, тот вроде стоял исправный. Только молоть, видно, придется под ночь, когда стемнеет. Днем здесь вряд ли повезет. Когда шныряют эти Пилипенки, полиция, где уж тут ей молоть.

И еще надо все-таки наладить печь.

Она спрятала под хворостом в сенях торбу с ее таким ценным приобретением, а сама вскарабкалась на чердак с порушенной страшной кровлей поглядеть, что же там стряслось с трубой-дымоходом. Страх было видеть эти разрушения! Стропила, видно, падая одной стороной, опрокинули ее склоненную трубу, половина которой теперь лежала под соломой на потолке, чернея отверстием разломанного дымохода, верх же был взрывом низвергнут вниз и разбросан по огороду. Так вот почему дым из печи совсем не шел вверх, идти ему было просто некуда, странно, что еще кое-как тянуло с грубки. Но, протапливая грубку, можно было сжечь все дотла, где тогда жить Серафимке? Хоть самой переселяйся в блиндаж к мужикам. Видно, ничего уж тут она сделать не могла, разве что заплакать, и она слезла вниз, невесело убедившись, что топить в хате невозможно.

Но тогда где ж топить?..

Остаток того дня копала бульбу на огороде, ссыпала ее в сенях, неотвязно думала: что делать? И все поглядывала на большую целенькую печь за огородом — знакомое соседское устье печи просто притягивало ее. Наверно, там было все исправно, не убереглась хата, зато выжила печь, у которой не было хозяйки.

Под вечер Серафима уже не удержалась и пошла на чужое обгоревшее подворье. Хоть было очень неловко тайком шастать по чужой усадьбе, но она немного прибрала горелый друз от бывшего порога, разгребла лопатой угли, положила пару обугленных досок, чтобы удобнее было добраться до печи. Дров здесь было в достатке, особенно головней, кусков бревен и досок — видимо, с потолка. Она очень опасалась, чтоб ее не увидел кто-нибудь плохой, все ж усадьба была чужая. А больше всего допекала забота, как уберечься от полицаев, чтобы те не дознались о ее мужчинах в траншее?

Пока что сожженная деревня казалась безлюдной, хаты до пожара стояли не близко одна от одной, и теперь здесь, с этого конца, на усадьбах не видно было никого. Только днем Серафимка разглядела, как на другом конце, возле шоссе, кто-то, как и она, ковырялся на Янковом погорелище — видно, старая бабка или ее невестка. Видать, теперь здесь у каждого были свои заботы и свои слезы. Может, это и лучше, думала Серафимка. Главное, чтобы снова не пошел дождь, а то когда польет, возле печи особенно не постоишь. А может, и спокойней будет, когда дождь, никто злой не набредет на ее работу.

Ей бы вот только смолоть.

Уже смеркалось, когда она взялась подготавливать соседский жернов: принесенным из дому веником старательно вымела желоб, обмела от пепла камни. Рукоятка и ее крепление вверху сгорели, но рукоятка не главное, видать. Куда важнее были камни. Знакомые камни, сильно стертые за десятилетия работы. Верхний разбит и сложен из трех кусков, сжатых воедино железными обручами, — не очень ровный и круглый камень, но молот вроде ничего. Не имея своего жернова, сколько перемолола на нем Серафимка — и когда жила с родителями-единоличниками, и после, в колхозе. Больше, правда, когда с родителями; колхознице же молоть выпадало не часто — с осени да зимой. Под весну уже зерно под размол кончалось, ели бульбу, у кого та еще водилась. После, до начала лета, кончалась и бульба. Вот тогда начинался великий пост...

Когда совсем стемнело, и над остывшими пепелищами установилась ветреная ночь, Серафимка решилась. Боязливо, как воровка, подобралась в темноте к чужому подворью, поднялась на возвышение к жернову. Очень пахло горелым и прогорклым, будто сажой из дымохода, но это ее не пугало. Больше страшило ее безмолвие ночи, и она не отваживалась первый раз крутануть жернов — казалось, грохот его будет слышен аж на том конце

деревни. Но крутанула, унимая страх, начала молотить и оглядываться. Вокруг было пусто и тихо, только шумели деревья в садике и чернела осадистая ночь.

И тогда ей припомнился давнишний год, когда почти так же, на этом самом жернове, она молола и боялась, боялась и молола. Но тогда она была не одна, во дворе караулил Петрусь. После, когда закончила, молотил и он для своих нужд, а возле калитки во дворе стояла она. Мололи тайком, противозаконно, боясь, ведь еще неделю назад сельсоветские начальники обошли деревню и побили все жернова, у кого были. Снимали с нижнего верхний камень, выносили во двор и били об угол фундамента хаты — жернова разваливались на куски. Нужно было сдать зерно государству, а крестьяне не понимали этого, прятали, где кто умел, закапывали в ямах на огороде, в риге или даже в лесу. Сначала начальство искало железным прутом — тыкало в разных местах по хлевам и подворьям, но все спрятанное найти не могло, прибавка от того заготовкам была мизерная. Тогда придумали взяться за дело с другого конца — побить сельские жернова. Рассуждали так: немолотое зерно есть не будут, значит, сдадут государству. Но сосед Петрусь, мало того что был человеком мастеровитым, так еще ж имел и хитрую голову на плечах. Он смастерил специальный железный обруч, которым стянул те разбитые куски жернова и установил их на прежнее место. Можно было молотить, и они ночью, когда выпадала похуже погода, мололи по очереди — Петрусь, а после Серафимка. Или наоборот. Под утро хозяин разъединял обруч и бросал те три куса на прежнее место в крапиву: сельсоветские активисты делали регулярные обходы деревни и проверяли, лежат ли битые жернова там, куда они их бросили. Да Петрусь обхитрил всех, и они были с хлебом.

Головастый был мужик этот Петрусь, пока однажды за ним не приехали ночью... До сих пор у нее осталось в душе неприятное ощущение от тех ночных страхов, как они скрывались тогда, как воры, хотя все то — и жито, и ячмень — было свое, не украденное, а честным трудом выращенное на своих же наделах. Но они действовали наперекор власти, которая, видно ж, имела на то право, когда постановила уничтожить их жернова. Наверно, так было нужно для власти или для государства. Только они с Петрусем чего-то не понимали, если нарушали то постановление. А главное — хотели есть; Серафимке что, она была одна, а у соседа росло трое прожорливых юнцов-подростков, которых нужно было кормить каждое утро...

Молотить ночью без рукоятки было не очень удобно, она натрудила руку шершавой палкой, которую приладила в проушину камня, аж горели ладони. Но за пару часов или больше все ж смолола корытце зерна, и никто ей не помешал. Ночь лежала глухая и темная, шумел ветер в обожженных ветвях садов, и к этому шуму ветра глухим рокотом примешивался звук ее жерновов. На ощупь в темноте она старательно выгребла тепловатую еще муку и через огород побежала домой учинять хлеб.

Теперь она не боялась, ее мужчины избавятся от голода. В первую очередь она сварит затирку.

10. Хлебников

Утром, как только рассвело, невдалеке в траншее послышалось тихое шуршанье, которое ненадолго унялось, и Демидович встревожено раскрыл глаза: кто, Серафима или, может, полицаи?.. Но нет, пришла Серафимка. Как-то оживленно, будто даже весело, поздоровалась, влезая в блиндаж. Перед собой она несла, видно было, завернутый в тряпку чугунок, должно быть, с едой, поставила наземь возле входа. И сама осталась стоять на коленях.

— Вот, затирки вам сварила. Вчера муки намолола, так это... затирки. Правда, хлеба еще нет, но замесила хлеб, завтра спеку.

В углу сразу подхватился капитан, сел, заговорил бодро, с какой-то затаенной радостью:

— Молодец! Ай да молодец, Серафимка! Затирка это что, каша?

— Не-а, затирка это... ну... затирка. Сейчас попробуете.

— Ну что ж, ну что ж... Поедим. А то, признаться... Проголодались.

Демидович тоже попробовал приподняться, чтобы хоть сесть, что ли. Чувствовал он себя по-прежнему плохо, может, даже хуже, чем вчера. Ночью у него был жар, была лихорадка, а под утро тело облилось студеным потом, и он, трудно дыша, пластом лежал на плаще.

Рядом живо и молча встрепенулся немец, сел, протирая заспанные глаза. В блиндаж из траншеи из-за спины Серафимки сочился скудный свет облачного утра.

— Беда вот, ложка одна! — посетовала Серафимка. — Может, у вас ести-ка?

— Чего нет, того нет, — сказал капитан.

Демидович, лежа, тоже покрутил головой. Тогда немец, похуже, поняв их затруднение, ловко шаркнул в боковой карман и вытянул оттуда белую ложку, шарнирно соединенную с такой же белой вилкой.

— Битгэ.

Он протянул ее Демидовичу, но тот отрицательно крутнул головой — пускай ест сам. Немец не настаивал, придвинулся ближе к чугунку, но не зачерпывал загустевшую сверху затирку, выжидал. Серафимка хлопотала возле капитана:

— Как же нам?... Или возьмете сами?

— А ну, а ну... — сказал капитан, одной рукой взяв вложенную в нее деревянную ложку, а другой — слепо ощупывая края чугунка, что стоял у ног. Удобней устроившись рядом, он неуклюже влез ложкой в чугун и, вынимая, пролил затирку из ложки на сапог.

— Ай-яй! — сказала Серафимка.

Немец тоже что-то пробормотал, и Серафимка деликатно взяла из руки бедняги свою ложку, зачерпнула из чугунка и осторожно донесла ее до разинутого из-под бинтов рта.

— Вот так! Ай-яй! Будто малого...

— А ничего, пойдет! Давай еще, — затребовал капитан.

Серафимка дала снова. И очень осторожно, чтобы не капать на грязные капитановы сапоги, взялась и дальше кормить его со своей деревянной ложки. Неторопливо, будто даже стесняясь, с другой стороны в чугун просунул коротенькую ложку Хольц.

— Ага, берите, берите! — радушно поддержала его Серафимка, и немец стал черпать живее.

Демидович проглотил слюнки и закрыл глаза, чтобы не смотреть на это безобразие. Хорошо капитану, который не видел, что происходило рядом. Не видел, конечно, но, однако ж, слышал и не мог не понимать, что творится. Да и эта Серафимка!.. Как ни в чем не бывало, едят вместе с немцем и не подумают даже, что он — фашист, враг, которые тысячами убивают наших людей, разрушают города и села, прут на Москву. Нет уж, Демидович на его удочку не клюнет — ни за харчи, ни за лекарства. Вчера тот снова дал ему стрептоцид и даже воды в кружке, но Демидович не дурак, он только сделал вид, что проглотил таблетку, а сам украдкой сунул ее в карман. Уж эти таблетки ему не навредят. Может, и не помогут, но тут уж он будет непреклонен. Не нужна ему фашистская помощь.

— Ну, я уже стал наедаться, — удовлетворенно сказал Хлебников, глотая очередную ложку. — Чтоб тем осталось.

— А хватит, хватит всем, — сказала Серафимка. — Я достаточно наварила. Вы ешьте, ешьте, — закивала она ефрейтору, который немного задержал свою ложку, предупредительно поглядывая то на нее, то на капитана.

— Это кто, райкомовец? — насторожился Хлебников, почувствовав соседа возле чугунка.

— Не, райкомовец лежит. Идите вот, ешьте, — сказала Серафимка, взглянув на Демидовича в углу.

— А, значит, ефрейтор! — догадался капитан. — Ну, как русская затирка?

— О, гут! — пробормотал Хольц.

— Это... Если бы еще зажарить... Или забелить. А то что же — постница! — сожалела

Серафимка.

— Ничего! И так сойдет!

Хлебников удовлетворенно откинулся к земляной стене блиндажа, в самом деле подкрепившись или, может, делая вид, что сыт. Возле чугунок продолжал неумело хлебать ефрейтор. Демидович же неподвижно лежал на спине, прикрывшись плащом, и Серафимка сказала:

— Дак чего вы не едите? Ложка ж есть.

— Я после, — буркнул Демидович.

— Как ваша простуда? Лучше хоть немного?

— Наверяд ли лучше.

— От забыла... Тулуп же вам надо принести.

— Было бы хорошо — тулуп.

— А табачку не того? Не расстаралась? — тихим голосом уважительно спросил Хлебников.

— Ой, дак нема ж! Ходила по огородам — нет нигде и самосейки, — спохватилась

Серафимка.

— Да-а? Ну что ж, потерпим. Правда, ефрейтор?

— Я, я, — с готовностью откликнулся Хольц.

Он, похоже, также нахлебался затирки и взялся вытирать обрывком бинта свою белую ложку. Тогда к чугунку изнеможенно придвинулся Демидович. Затирка для него была не в диковинку, он хорошо изведal ее вкус в своей голодной жизни. Но болезнь, похоже, вытравила в нем ощущение голода, и теперь больше трех ложек он съесть не смог. Уже несколько дней не лезла в горло никакая еда, не пошла теперь и затирка.

— Все. Больше не могу...

— Ой, да как же вы без еды? — горестно сморщила личико Серафимка.

— Пускай вон тот... доедает, — кивнул Демидович на немца.

И Серафимка спросила:

— Может, и вправду, доедите?

Ефрейтор, на удивление, понял и снова с готовностью достал свою ложку. За несколько минут он дочиста опорожнил чугунок, старательно выскреб по краям остатки — и отмывать почти не нужно.

— Вот и славно! — удовлетворенно сказала Серафимка. — Пойду кожух вам принесу. Или, может, вечером?.. Холера на них, как бы на полицаев не наскочить.

— Ни в коем случае! Слышь, Серафима? — насторожился капитан.

— Да я ж понимаю. Что я, малая...

— Вот-вот! А иначе всем крышка. И тебе не поздоровится.

— Я ж аккуратнo. Оглядываюсь все. Чтоб нигде никого.

— Правильно. Спасибо тебе, милая женщина, — проникновенно вымолвил капитан, и у Серафимки заметно порозовели щеки. Видно, хвалили ее нечасто в жизни, тем более, незнакомые мужчины, и теперь эта капитанова похвала глубоко тронула женщину.

Серафимка завернула в тряпку пустой чугунок и, пригнувшись, полезла к выходу. За ней, немного выждав, выбрался ефрейтор. Хлебников, что-то сосредоточенно думая, сидел под стеной. В блиндаже в общем было не холодно, только иногда из траншеи повеяло ветром, а так было тихо и немного держалось накопленное за ночь человеческое тепло.

— Он — куда?

— Кто?

— Немец. Вышел — куда?

— А хоть бы куда. Нам какое дело? — не очень вежливо ответил капитан.

— Вы не боитесь? — спросил Демидович.

— А чего мне бояться-то? — с оттенком горечи молвил капитан.

— А что выйдет и — гранату сюда? Или из пистолета?..

— Зачем?

— Зачем? Ну, знаете... Немец все ж таки.

— Черт с ним, что немец! — выругался капитан. — Какой ему смысл — гранату? Он бы мог меня — из пистолета. В первую же ночь. Но ведь не застрелил. Наверное, нет интереса. Сам в западне. И он, и я, и ты тоже. Разве непонятно?

Демидович смолчал, он не хотел продолжать нелепый диалог, поскольку капитан, похоже, отказывался понимать простые вещи. Теперь, однако, не время было толковать их этому упрямому человеку, разговор мог услышать немец. Если уже не услышал из траншеи.

Когда ефрейтор вскоре вернулся, они молча сидели на прежних местах, будто и не беседовали, и немец бодро сказал капитану, шуточно потирая деликатные пальцы:

— Ну, будем немножко... лечить? Посмотреть ваши глаза. Болно?

— Ничего, сносно. Может, обойдется... Слушай, ефрейтор, ты бы лучше табачку раздобыл... Ну, пуф-пуф, понимаешь? Сигаретку.

— Цигареттен? Никс цигареттен, — развел руками ефрейтор.

— А ты поищи. Может, где убитый, понимаешь? А?

Ефрейтор нахмурил лоб под пилоткой, подумал и хлопнул себя по бедрам:

— Карашо! Хольц идет посмотреть!

— Сходи, да. Авось где-нибудь попадетсЯ. А то, понимаешь, уши пухнут, так курить хочется.

Сгребши с земли свою плащ-палатку, ефрейтор вылез в траншею. Из блиндажа было видно, как он там огляделся — в одну сторону, затем в другую — и быстро исчез куда-то.

В блиндаже воцарилась тишина, было слышно, как где-то у входа шуршал бурьяном ветер.

— Вы думаете, он не понимает по-русски? — тихо сказал Демидович.

— Кто? Немец? Возможно, кое-что понимает.

— Так как же так? — чего-то не мог сообразить Демидович. Его все больше возмущало совсем равнодушное отношение этого капитана к врагу, и Демидовича подмывало начать серьезный разговор.

— А что — как же? Он, может, мне курева принесет. Ты же не принесешь, правда? — легко говорил капитан.

— Он может полицию привести. Или своих...

— Ну и черт с ним! Если такой... Или за свою жизнь очень переживаешь? — что-то смекнув, спросил капитан.

— А вы не переживаете?

— Я не переживаю. Я уже все пережил, к твоему сведению.

— Но это не причина для потери осторожности.

— Чего-чего?

— Ну, бдительности.

Слова Демидовича, очевидно, крепко задели капитана, он рывком поднялся и сел под стеной.

— О чем вспомнил! Где же вы, такие бдительные, раньше были? Когда в Кремле с Риббентропом целовались?

Капитан так неожиданно перешел на рискованные речи, что Демидович внутренне поморщился, он таких разговорчиков не любил, от них всегда веяло опасностью. Прежде чем ответить, он немного подумал, но ответил, пожалуй, так, как и полагалось отвечать в таких случаях:

— Когда целовались, такая тогда, вероятно, политика была. В интересах державы.

— Это какой державы? Не нашей ли?

— Ну конечно, нашей.

— Ах, нашей! Вот теперь эти интересы боком и вылезают. Через умников.

— Не считайте, что там дурнее вас.

— Я не считаю. Наверное, поумнее. Но вот какое дело. Почему при их уме немцы под Москву топают? А я здесь валяюсь. Слепой. Теперь они, что ли, мне свои глаза вставят?

Демидович молчал, лежа в своем углу, а Хлебников уже лечь не мог. Видно, Демидович наступил на его больную мозоль, и он заговорил почти с отчаяньем в голосе:

— Бдительность!.. На глазах всего мира Гитлер объегоривал — этого не видели! А теперь, когда стало видно, с кого взыскать? Он же безгрешен и гениален во веки веков. А Красной армии отдуваться за эту его гениальность. Своей кровью смывать его всесветную глупость, чтобы он был безгрешен и величествен, как всегда.

— Вы это про кого? — с ужасом обмер Демидович.

— Знаешь, про кого.

— Ну, знаете!.. — сказал Демидович и смолк.

Он был крайне возмущен и почти растерян, такого он не ожидал. Этот слепой командир просто не соображал, что говорил. И Демидович был вынужден слушать, не зная, что делать.

— Такого я от вас не ожидал, — сказал он еле слышно. — Вы, наверно, и в нашу победу не верите? Что наши вернутся?

— Я верю, что наши вернутся, — сказал Хлебников. — Но я уж к ним не вернусь — вот в чем беда. Даже если и выживу. Я уже не тот. Тот был зрячий, а я слепец.

— Нельзя ж так, все о себе.

— А о ком же еще? У меня семьи нет, родителей тоже. Я в детдоме воспитывался. И я искалечен навеки. Следовательно, я свободен. А ты думаешь, как тебе перед райкомом вывернуться, оправдаться хотя бы за этого немца. Наверное, убить его ты не сможешь — оружия нет. А вот он тебя может в два счета. А не убивает. Ты не задавался мыслью: почему?

— Может, еще и убьет, — тихо сказал Демидович. — Откуда я знаю?

— Не убьет, — уверенно сказал Хлебников. — Он теперь с нами повязан одной веревочкой. Ибо все мы здесь неудачники. И выпали из системы. Мы — из нашей, он — из своей. Мы — брак! А брак известно куда — на свалку.

— Как это брак? — возразил Демидович. — Так вы о себе можете сказать. А я не такой. Я политически не переменюсь.

— Можешь не меняться. Зато к тебе переменятся.

— Я еще, может, выздоровею.

— Вполне возможно. И дождешься наших. Только что ты в анкете напишешь? Наверное, придется анкету заполнять?

Демидович вместо ответа во все глаза недоуменно смотрел на забинтованное, как-то задранное вверх подбородком лицо капитана.

— На оккупированной территории был? Был. С немецким фашистом связь имел? Имел. Есть свидетели. Скрыть не удастся.

Демидович угнетенно молчал. В самом деле, придется же обо всем этом в свое время написать, объяснить — поймут ли тогда его? Или он свалит все на этого слепого капитана. Капитан слепой, но ты же, скажут, был зрячий, видел, с кем спал в одном блиндаже?

Черт бы его побрал, этого немца, уныло рассуждал Демидович, и откуда он свалился на их голову? Чего он торчит возле них, не идет никуда? Хоть к своим, хоть к фронту, чтобы сдать в плен, когда такой, с браком?.. В том, что эта история не обойдется для Демидовича благополучно, он был убежден, вот только не знал, что делать. Был бы здоров, минуты бы не остался тут, с немцем да с этим сумасшедшим капитаном, которому и вправду, видно, нечего уж терять (что возьмешь со слепого?). А вот Демидович мог потерять все. Таким потом добытое, никогда ничем не запятнанное...

Похоже, высказавшись о наболевшем, Хлебников разрядил нервы, умолк и начал просто ждать немца. Очень хотелось курить, и он себя тешил надеждой, что раз ефрейтор задерживается, то, значит, где-то ищет. Авось принесет. Серафимка, известное дело, женщина, она прежде всего заботится о еде, понимает ли она, что мужику подымять иногда нужнее еды? Без харчу еще можно прожить, а вот без курева...

На Демидовича Хлебников не злился, таких перестраховщиков за свою жизнь капитан перевидал немало. Они на словах будто бы заботятся о высших государственных интересах,

прикидываются железобетонными ортодоксами, а сами просто боятся. Не был ли он сам всю жизнь таким, мало ль боялся?.. Впрочем, время от времени пугали крепко, было чего бояться. Вот и этот райкомовец: как услышал о том, что его определенно ждет, сразу проглотил язык. А то — интересы державы, разумное руководство...

Остаток дня лежали молча. Демидович то дремал, то просыпался. Перед вечером прибежала Серафимка, принесла кожух, и Демидович поспешно завернулся в него. Стало куда лучше, и он болезненно и расслабленно уснул. Серафимка сказала, что ночью будет печь хлеб, утречком принесет, тогда им голод будет не страшен.

А немца все не было, и Хлебников начал тревожиться: не случилось ли с ним что-то плохое? А может, побегал к своим? Все могло быть. Он уже знал, что на войне хватало всего под самую завязку...

[11. Нохем]

[Серафимка] утречком бежала в траншею и встретила Нохема: вылез из ямы, испугал ее. (В белье). Рассказывает все о [эжене] Циля. Привела в блиндаж. <...>

Нохем, фотограф. Из местечка. У него Циля, и двое старых, и двое малых. Всех постреляли. Он вылез из ямы. Немного не в себе. То плачет, то смеется.

“Что мне ваша победа!”

У него три сына учились в столицах: на летчика, инженера, кинооператора. Он работал, но был доволен. <...>

[12. Качан]

— Ефрейтор [немец] в деревне. Добывает пачку махорки. Хороший дед. Был в ту [войну] — в плену. Дал.

Серафимка печет хлеб. Страх. Испекла. Прилегла. Где-то: бах-бах! <...> возле дороги. (В картофлянике). Уснула. <...>

Назавтра [Серафимка] бежит зарослями. И раненый Качан. <...> Ползет. Раненый в ноги. <...> Попросил: спасай, дам золота. <...> Прибегает в землянку. С немцем приносят Качана. <...> (У того сало). Дотянула до траншеи, оставила. Притянула с немцем. Немец ее помощник. <...> Но откуда золото?

Качан. Отца его раскулачили в 37[-м]. Немцы сделали его полицаем. Но он убежал. Куда только?

“Как жить честному человеку? Я никому не хочу служить. Я сам по себе”.

— Считает, беда началась с земли. Проклятой земли, которой дали им на 6 едоков по 2 десятины в 21 г. Отец отдался [работе] и стал кулаком.

— Немцы дали повязку, бельгийскую винтовку. Что делать? Сначала — стрелять евреев. Он бросил винтовку в пруд, повязку повесил на забор и ушел в поле.

Но неделю ходит с повязкой.

Ночью полицаи подстрелили, и он полз. Серафимка бежала, слышала. Пошла с немцем, притянули.

Качан — полицай, которого кто-то подстрелил. Он антисемит и сволочь. <...> Апеллирует к немцу. Без немца — иной, разный.

В землянке. Допрос Качана. Путаный человек. Ходить не может, но рана не очень — в зад: скрутило ногу.

Качан рассказывает о своем полицействе. Был в полиции, ага! Арестовывали коммунистов, своих. Нехорошо. Сгоняли евреев. Ну и что? А чего они...

<...> Пока большие и слабые, как дети: послушные. А затем стычки:

Командир — Демидович

Нохем — немец

Все против Качана. <...>

[13. Серафимка]

<...> Споры в блиндаже: отступление [—] в этом стратегия. Сталин хочет заманить, чтобы затем уничтожить (Демидович? Хлебников?).

— Хлебников (Демидович) организовывает охрану: караулить. Днем садят Серафимку. Однажды здесь появляются полицаи. Сидят. Спасает С[ерафимка]. Как?

— Может, как у Вайды?

Нохем исчезает. <...>

Демидович начал выздоравливать. (Капитану хуже). И начал думать: как бы застрелить немца, чтоб умер капитан, о Серафимке...

— Серафимка принесла хлеб. Радость. <...>

Начинают есть. <...> А тут полиция... Полицаи ходят по траншее. <...> Мародеры. В блиндаже все замерли. <...>

Посылают Серафимку. Наблюдают двое из траншеи.

Демидович и немец вылезли в траншею.

Наблюдают.

Немец говорит: надо пук-пук!

Д[емидович] — нет!

<...> Пилипенки пришли к ней. Полицаи встретили ее на тропке. <...> Где Качан? Веди. <...> И она повела их в лес. Когда лес закончился, остановились.

Там ее изнасиловали... <...> Их было трое, Пилипенко, один в шинели и один молодой бугай. Они изнасиловали С[ерафимку]. <...>

Как над ней издевались в колхозе — как над сестрой врага народа.

Серафимка радовалась: вот где мир! Живут в мире, как славно. Но нет. <...>

Они ее убили. *<...>

А в блиндаже о ней рассуждают каждый со своей колокольни. Капитан, Демидович, полицай [Качан], немец. <...> Еды нет, воды тоже. <...>

В блиндаже голод. Кто такой Качан? Разговор: Хлебников, Демидович, немец. Хлеб съели. К[апита]н осунулся. Серафимка не идет.

Немец идет копать бульбу. Ночью варят. <...>

Серафимка печет хлеб. И вспоминает, как к ней, сестре ВН, относились в к-зе.

2 буханки еще были в печи, а она на рассвете начала собираться в блиндаж.

И тут — полицаи: где племянник? Куда идешь?

Забрали в Забродье. Начали допрос. Били. Посадили в подполье.

В блиндаже. Уныние и голод. Демидовичу все же лучше. Все хотят есть.

— Почему не идет Серафимка? Хлебников: значит, не может. Демидович: а вы знаете, кто ее брат?.. Началась ссора.

— Хольц выходит на дорогу. Подъезжает с обозником. Но в местечке начальство, и он спрыгивает, сворачивает с дороги. Заходит в хату: там не дай Бог — еды нет. Добывает кусок и через поле — в блиндаж. <...>

Серафимку последний раз допрашивают. И выпускают. Она бежит домой. И — с хлебом — к блиндажу. Там оглядывается — сзади Пилипенки. Ай, боженька! Вбежала в блиндаж: полицаи! Дура! Кого привела!

Полицаи идут к блиндажу. Хлебников стреляет. Стреляет Хольц. Полицаи прячутся на расстоянии. “Пусть выйдет баба, остальных не тронем!”

Хлебников: а хрена вам!

Демидович: так что же, погибать?

Серафимка идет. <...> Те ее насилуют. И уходят. Она бредет вверх.

<...>

В блиндаже раздор. Хлебников, Хольц!

Прогоняют Демидовича.

Демидович <...> завяз в торфянике. Его мысли в бреду. [Немец пошел его искать. Нашел. Принес без сознания.] Смерть Демидовича. Немец хоронит его в траншее.

Немец уходит. <...> Немец вскоре почувствует себя выше. Но его потрясает Сер[афимка].

Немец говорит: пойду. Капитан не задерживает и не спрашивает.

<...> Полицай (Качан) утаил, что он — полицай. И ждет. А на поле С[ерафимке] сказал, что его — [ранили] Пилипенки.

<...>

Хлебников и Качан. Качан пытается украсть пистолет.

Хлебников его стреляет. <...> Но не может с трупом быть рядом.

Посчитал — осталось 5 патронов. <...>

Остается один капитан [Хлебников]. <...>

Хлебников сходит с ума. <...> Не может оставаться в блиндаже и выходит в поле с пистолетом. Стреляет и кричит “Ура!”.

[1987]